

Арсеньева



Пригоды
БОГОВ

ИЗДАНИЕ

Елена Арсеньева

Причуды богов

«Автор»

Арсеньева Е. А.

Причуды богов / Е. А. Арсеньева — «Автор»,

ISBN 5-04-006929-4

Своевольная красавица Юлия Аргамакова одержима желанием сама распоряжаться своей судьбой. Назло родителям она бежит с молодым поляком Адамом в ночь кровавого мятежа, поднявшегося в Варшаве в ноябре 1830 года. Насмешница-судьба сдала Юлии свои карты – и волей-неволей та вынуждена следовать правилам этой новой, смертельно опасной игры. Ей выпадут убийство и разлука, ненависть и беспутство, опасные интриги, предательство, дальняя дорога... и страстная любовь, перед которой Юлия, со свойственным ей упрямством, никак не желает склониться! Издание 2001 г. Впоследствии роман переиздавался под названием "Карта судьбы".

ISBN 5-04-006929-4

© Арсеньева Е. А.

© Автор

Содержание

1. Обманутый жених	5
2. Рыцарь спасает даму	13
3. «Ваш милый думает о вас»	19
4. Обещанное беспутство	26
5. Ноябрьская ночь	30
6. Горбун	38
7. Цветочный театр Шимона Аскеназы	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Елена Арсеньева

Причуды богов

*Уйми бездумное роптанье
И обреки все сердце вновь
На безграничное страданье,
На бесконечную любовь!*

Каролина Павлова

1. Обманутый жених

...Ночник не горел, и пока глаза привыкали к темноте, Юлии пришлось постоять у двери, вдыхая запах табака и пыли, и хорошей перчаточной кожи, и чего-то особенного – словом, запах мужчины. Чужого мужчины!

Она по-прежнему ничего не видела. Все небо за окном затянуто тучами, ветер ярится, а здесь так тепло, так тихо. Так томно!

Очертания кровати выступили из тьмы, и Юлия торопливыми, невесомыми шажками добралась до нее, постояла мгновение, глубоко вздохнув, и осторожно, чуть дыша, присела, а потом прилегла с самого краешка. У нее было такое ощущение, будто бросилась она в эту роковую постель как в омут.

Ну ничего! Самое главное сделано! Самое страшное позади! И теперь можно не мучиться сомнениями, как вчера, как всю дорогу до станции: «Может быть, сегодня. Может быть, уже этой ночью...»

* * *

«Может быть, сегодня! Может быть, уже этой ночью мы станем любовниками. Нет, мужем и женой!»

Конь устало взбрыкнул; Юлия натянула поводья, чувствуя, что краснеет: а вдруг скакун почувал ее горячечные мысли?

Подбежал работник: «Милости проше, добрый пан, ясная пани!» – подхватил лошадей под уздцы, сунулся было поддержать стремя, но Адам оказался проворнее и уже соскочил с седла, ревниво оттолкнул работника, принял Юлию на руки и медленно, неохотно опустил на землю, крепко прижимая к себе и скользя губами от виска к шее. И снова эти мысли, от которых перехватывает дыхание и слабнут ноги: «Сегодня ночью!» Юлия видела, как бьется синяя жилка на его горле, и не сомневалась, что он думает о том же!

Работник пялился на них с любопытством.

– Н-но, холоп!.. – Адам, очнувшись, брезгливо отстранил его с пути рукоятью хлыста и, подхватив Юлию под локоток, повел в дом.

Несколько мохнатых шавок с лаем бросились из-под крыльца, и Юлия тихонько засмеялась: уж больно старательно выслуживались собачонки перед сухоньким человечком в старом кунтуше ¹ и форменной фуражке, напяленной явно впопыхах, и хотя начальник станции силится принять достойно-грозный вид, сразу было ясно, что натура у него добрейшая.

– Лошадей! – скомандовал Адам. – Но прежде ужин!

¹ Польском кафтане.

«Значит, поедem дальше! – разочарованно вздохнула Юлия. – Ну что ж, это самое разумное. Ведь почти ночь на дворе! Господи, я так устала! И вообще...» – Она прикусила губу, изо всех сил стараясь держаться небрежно и не выказывать, до чего она обиделась на Адама, который, оказывается, жаждет ее меньше, чем она его. А следовало бы наоборот!

Тем временем начальник станции что-то отвечал, всплескивая руками, но из-за лая проклятых шавок трудно было хоть что-нибудь разобрать.

– Тють, скаженные! – вдруг заорал он могучим басом, неожиданным для его сложения, и трижды топнул в крыльцо. Шавки, сочтя, очевидно, свою службу выполненной и вполне одобренной, немедленно убрались туда же, откуда взялись, а начальник станции повторил и слова свои, и жест, и мимику крайнего отчаяния:

– Лошадей?! Какие лошади?! Две клячи на дворе, да хоть бы их и не было вовсе! Что с них проку?! Ни под седло, ни в упряжку! Что сегодня с вельможными панами поделалось? Все так и гонят в Варшаву!

– Мы едем из Варшавы, – подала голос Юлия, однако это дела не поправило: начальник станции вновь всплеснул руками:

– Пшепрашам бардзо ², ничего не могу поделать, даже заради чудесных очей ясной пани! Однако же проше пана, пани не гневаться и не печалиться. В доме моем они отыщут уютный ночлег, а к утру кони вполне отдохнут и смогут вновь нести на себе таких прелестных седоков!

Юлия не могла не улыбнуться этим цветистым речам. Вдобавок она вовсе не была огорчена тем, что предстоит заночевать здесь. И так, ночь с 16 на 17 ноября 1830 года навсегда сохранится в ее памяти! Сколько раз, пока они ехали рядом с Адамом – так близко, что лошади их чуть не терлись боками, – Юлия делала вид, что засматривается, как сияет Божий мир под чистым небом, радуясь последним погожим денькам, как солнце прячется за речку, как заря румянит облака, а сама думала, как поведет себя, если вдруг Адам возле какого-нибудь уединенного стожка остановится, снимет ее с седла, опрокинет в душистое сено... Она и хотела, и боялась этого. Ну вот, время пришло! Конечно, здесь, на станции, в простынях, перинах и подушках, все будет не так романтично, как в душистом, шуршащем сене, однако что ж, такова судьба!

Она вздохнула обреченно-счастливо – и не поверила своим ушам, услышав, что Адам требует для них две комнаты. Кровь бросилась ей в лицо. Две?! И тут же Юлия мысленно пристыдила себя: разумеется, она все время забывает, как благороден Адам. Несомненно, он желает Юлию так же, как и она его, однако пока они не повенчаны, пока не стали по закону мужем и женой... Ах, как это правильно! Как благоразумно! Как пристойно! И как скучно! А разве не от этой самой скучной благопристойности очертя голову бежала она из родительского дома?! И вот... Слезы навернулись на глаза, но тут же новая догадка мгновенно высушила их: да ведь Адам просто не хочет компрометировать ее перед этим забавным старичком! А вдруг тот приметил, что на ее плотно обтянутом перчаткою пальце нет необходимой выпуклости, указывающей на обручальное кольцо, и называет ее «пани», а не «панна» только из деликатности? Эти две комнаты заказаны Адамом лишь для отвода глаз, ну а ночью, несомненно... О, несомненно!

Юлия ободрилась, перестала хмуриться и с выражением приличествующей скромности на лице вошла в дверь, почтительно отворенную для нее начальником станции.

Она очутилась в просторной комнате, ничем не отличающейся от всех других почтовых станций, на которых приходилось ей бывать. Гитара на стене – развлечение начальника дочки, жены или приберегаемая для забавы господ проезжающих, – перекрещенная со старо-

² Прошу прощения (*польск.*).

польским орудием славы – карабелею ³; на окнах – нарядные розовые фуксии, похожие на кукол в кокетливых юбочках; в рамках под стеклом – гравированные портреты великих шляхтичей, среди которых неременная принадлежность всякого польского дома – изображение великого гетмана Яна Собеского, по прозванию Savitar ⁴ Речи Посполитой, чье имя в веках наводило страх на неприятелей. Тут же висела книжная полка, а на ней аккуратной стопочкой – газетные листы Дмушевского, примерного летописца каждого дня и каждого события Варшавы, – «дела веков, дела минуты». В затемненном уголке висел еще какой-то портрет, и Юлии понадобилось изрядно приглядеться, чтобы его разглядеть. К своему немалому изумлению, она увидела изображение Наполеона I и приподняла брови. Не больно-то это прилично: подданным Российской империи иметь на видном месте первого российского супостата! Впрочем, Юлия отлично знала о слепой преданности поляков Корсиканцу, обещавшему возродить Великую Польшу, а вместо этого ввергнувшему ее в новые распри с могущественной Россией. Во многих домах годами хранились такие портреты, сделавшись уже более предметом украшения, обстановки, нежели культа, а потому на них сурово реагировали только старые служаки, еще не забывшие горячих схваток с французской армией, вроде... Нет, об этом лучше и не задумываться!

– Чего изволите откусать? – захопотал начальник станции. – Цыплята, раки, спаржа?

– Да! – воскликнула Юлия, вмиг забыв обо всем и чувствуя только, как ужасно проголодалась. – Цыплята, раки, спаржа – и скорее, скорее!

Хозяин позволил себе понимающе усмехнуться.

– Юзефа, подавай на стол! Аннуса, помоги ясновельможной пани!

Явилась чернобровая дородная хозяйка, бывшая чуть ли не вдвое выше супруга, присела в поклоне и принялась с проворством фокусника метать на стол кринки, блюда, тарелки, от которых шел дразнящий аромат вкусной, горячей еды. Прибежала молоденькая девушка, верно, дочь хозяина; сделала хорошенький книксен и с благоговением приняла у Юлии салоп на черно-бурой седой лисице, покрытой серым атласом. Юлия заметила, что девушка на миг зарылась в душистый мех, а когда подняла покрасневшее личико, в ее голубых глазах сверкнула откровенная зависть.

Какое-то мгновение панны мерили друг друга взглядами. Обе они были высоки, стройны, светловолосы, свежи и румяны, только чуть раскосые, приподнятые к вискам глаза Юлии имели грозный серый оттенок, а большие, по-детски круглые глаза Аннуси отсвечивали голубизной незабудок. И еще – скуластое лицо Юлии имело черты тонкие и четкие, а личико Аннуси не утратило девчоночьей припухлости щек.

Хозяйка наконец заметила, как беззастенчиво дочь разглядывает высокородную гостью, и возмущенно дернула Аннусю за юбку:

– Ну, чего стала, гультайка?! ⁵

Дивчинка унеслась как вихрь, и Адам, с явным интересом наблюдавший за безмолвным поединком, повел Юлию к столу.

Они сели – и Аннуса вмиг была забыта. Осталось лишь восторженное созерцание и блаженное осязание отлично поджаренных, золотистых цыплят, с выступившими на их крылышках капельками жира, в обрамлении зеленых палочек чудесной спаржи. Было что-то невыносимо возбуждающее в том, как Адам с Юлией сидели на разных концах стола и ели, не сводя глаз друг с друга, враз беря то по палочке спаржи, то по белому, сладковато-солененькому кусочку раковой шейки; было что-то почти любовное в совместном движении их губ, языков, дразняще облизывающих губы... А когда Юлия взяла изрядную, толстую цыплячью ножку и

³ Польская кривая сабля.

⁴ Спаситель (*лат.*).

⁵ Лентяйка (*польск.*).

поднесла ко рту, ее вдруг посетило неприличное воспоминание о том, как одна девочка у них в институте благородных девиц говорила другой девочке, а та – третьей... и в конце концов дошло до Юлии, что, когда мужчина и дама ложатся в постель, некоторые особы ласкают своих любовников особенным, изощренным, диковинным способом, целуя ту часть их тела, о существовании которой воспитанные девицы не должны были даже подозревать. И сейчас ей представилось, как она позволит себе с Адамом все-все, даже самые опасные ласки, только бы их страсть не знала предела!

Запах свежего, только что испеченного хлеба дурманил пуще всякого вина, хотя и его подать не замедлили. Юлия испугалась было: всякое с нею случалось, даже горькие черные пахитоски пробовала украдкой, но чтобы пить вино?! Потом она подумала, что начало взрослой, самостоятельной жизни необходимо пышно отпраздновать, и отчаянно махнула рукой начальнику станции, стоявшему с бутылкой неподалеку. Однако не судьба ей была нынче познакомиться с изобретением Бахусовым, ибо едва лишь хозяин взялся за пробку, как топот копыт и истошный лай со двора возвестили о прибытии новых гостей, и через минуту, не успев станционный смотритель, по обычаю, выскочить на крыльцо, вновь прибывшие уже вошли в залу.

* * *

– Не дело, не дело, пан Тадек! Ветчина у вас, гляжу, еще по двору ходит в первозданном виде, да и жареный цыпленок вон кудахчет! – воскликнул с порога один из гостей, высокий статный мужчина в толстом, видимо, очень теплом плаще с пелериною, сняв мягкую дорожную шляпу, резко тряхнув смятыми волосами, от чего они взлетели и сразу улеглись надо лбом пышной темно-русой волной. – Мир вашему дому!

– Патер ностер... – восхищенно прошептал начальник станции, устремляясь вперед с радушно простертыми руками, в одной из которых была зажата бутылка, что выглядело весьма комично. – Патер ностер, Матка Боска! Да ведь это пан Зигмунд! Да нет, быть того не может! Мои очи лгут мне!

– Полно вам клеветать на свои очи! – улыбнулся названный паном Зигмундом, и улыбка эта вызвала восторженное сияние на пышном лице Юзефы и прелестном личике Аннуси.

От любопытной Юлии не укрылось, как расцвела и засияла девушка, как она стиснула на груди руки почти в молитвенном восторге. Весь облик ее столь явно рисовал картину первой, нежной, самозабвенной любви, что Юлия уже внимательнее пригляделась к сему пану Зигмунду, тем более что этот человек был из тех, кто сразу обращает на себя внимание окружающих и завладевает им всецело. Он как бы заполнил собою всю немалую станционную горницу! И не потому только, что был высок, широкоплеч, изящен и проворен в движениях; не потому только, что его светлоокое лицо имело запоминающиеся, мужественные, красивые черты. Он обладал силой, которая поражала более, чем красота: силой вождя, заводилы, впередиидущего, на которого взирают почтительно и восторженно последователи, готовые по первому мановению его руки ринуться бог весть куда! На подвиг! На бой! На смерть!

Юлия даже поежилась, ибо Зигмунд на миг напомнил ей отца, а генерал Аргамаков был, ей-богу, последним человеком, о котором сейчас хотелось думать! Это воспоминание на миг развеяло чары Зигмунда, которым уже поддалась было Юлия, как, впрочем, и все присутствующие, и тогда она смогла взглянуть на другого гостя, который вытирал платком усталое лицо и с отчужденным равнодушием озирали стены станционного помещения.

Он был невысок, плотного сложения и уже склонен к полноте, невзирая на молодость: ему было едва за двадцать. Черные волосы оттеняли бледность лица, в котором было что-то орлиное, надменное: в этих широко расставленных круглых, немигающих глазах, в коротком

горбатым носе, в поджатых губах маленького рта... Юлии показалось, что она уже видела этого человека прежде: высокомерно-сосредоточенное выражение его лица было чем-то знакомым.

Несомненно, знал его и пан Тадек. Во всяком случае, вид у доброго хозяина сделался такой, словно он повстречал призрак, а глаза испуганно сновали от лица гостя к портрету, висевшему в темном уголке.

«Вот на кого он похож! – внезапно сообразила Юлия. – На Бонапарта! Ну прямо как две капли воды! Бывают же такие чудеса!»

– Позвольте рекомендовать друга моего, – Зигмунд отвесил полупоклон в сторону своего спутника. – Пан...

– Милостивый Боже! – восторженно перебил пан Тадек, разве что во фронт не вытягиваясь перед гостем. – Ваше ве... ваше вы... ваше превосходительство!

Однако тот покачал головой:

– Зовите меня лучше пан Валевский. Это имя не хуже прочих.

– Слушаюсь! – рявкнул хозяин изумительным басом, и Зигмунд, невольно прижмурясь, похлопал его по плечу:

– Спокойно, пан Тадек! Спокойно! Не пора ли приняться за ужин, если, конечно, и для нас найдется корочка вашего чудесного хлеба?!

– О, пан Зигмунд! – захлебнулся радушием хозяин станции. – Да для вас... для вас! А ну, Юзефа, Аннуся! А ну!..

Зигмунд одобрительно кивнул хозяину и наконец-то соизволил обратить внимание на сидящих за столом: «Прошу прощения у дамы!» – однако Юлии, когда эта гордая голова склонилась перед нею в изысканно-небрежном поклоне, вдруг почудилось, что Зигмунд заметил ее, едва вошел, а приветствие оттягивал вовсе не из-за суматохи, учиненной Тадеком, а по непонятному, оскорбительному пренебрежению к ней и в особенности к Адаму.

– Зигмунд Сокольский, позвольте рекомендоваться! – щелкнул он каблуками, подтвердив мысленную догадку, что этим широченным плечам более пристал мундир, чем статское платье.

Юлия вежливо улыбнулась в ответ. Взгляды их встретились, и ее поразило изумление, сверкнувшее в его холодновато-голубых глазах, почти мальчишеская растерянность. Да и она вдруг ощутила себя одиноким, потерявшимся ребенком, которому сейчас, немедленно необходимо прильнуть к чьей-то широкой груди, успокоиться в чьих-то объятиях... С некоторым усилием и даже изрядной долей презрения к себе она оторвала взор от плеч и рук Зигмунда и обратила взгляд на Адама, ибо это его плечам и рукам теперь предназначено было утешать и успокаивать ее!

Ситуация сложилась неловкая. Юлии полагалось бы ответно отрекомендоваться, однако назвать свое настоящее имя у нее не было ни малейшей охоты. Если только Адам узнает, как она водила его за нос все это время, он сейчас же вскочит из-за стола и ринется прочь от нее, невзирая на всю свою великую любовь! Довольно и того, что он напряженно молчит, хотя из соображений приличия мог бы представить Юлию пани Коханьской, своей женою, пусть это и не отвечает истине!

Между тем молчание затягивалось, и Юлия уже совсем было решила назвать девичью фамилию своей матушки – Корф, под которой знал ее и Адам, как вдруг заметила, что жених ее бледен и смотрит на Зигмунда, будто школьник на сурового учителя, ну а тот уставился на него с таким высокомерным пренебрежением, что Юлия, будь она мужчиною, тотчас вызвала бы его на дуэль за один только этот взгляд.

– Кого я вижу! – развел руками Зигмунд. – Да ведь это Коханьский! Какими судьбами здесь? Тоже спешишь в Варшаву?

Адам кивнул, затем быстро замотал головою, и в глазах его появилось затравленное выражение, ударившее Юлию в самое сердце. Она даже и помыслить не могла, что эти прекрасные

тонкие черты способны исказиться таким страхом! Адама отличали подчеркнутая выдержка, умение владеть и жестами, и словами и как бы всех и вся держать на почтительном отдалении. Это особенно восхищало вспыльчивую, несдержанную Юлию, потому что напоминало ей деда, старого барона Корфа, с его загадочной молчаливостью, за которой чувствовалось то знание человеческой природы и снисходительного, чуть ироничного отношения к ней, которое и называется мудростью. Но сейчас ее жених был сам на себя не похож!

– Нет, – выдал наконец Адам. – Мы, собственно... мы... – Он осекся, умоляюще глядя то на Зигмунда, то на Юлию, которая почувствовала себя дура душой, особенно когда Зигмунд снова поглядел на нее – с тем же непостижимым выражением удивления и недоверия. И неизвестно, что было хуже: умирать от стыда под этим взглядом – или увидеть, как презрение в глазах Зигмунда сменилось нежностью, едва в поле его зрения появилась Аннуся, нагруженная таким огромным подносом с яствами, что из-за них едва виднелось ее миленькое личико и голубенькие глазки, повлажневшие от волнения.

О Юлии Сокольский позабыл вмиг, будто ее и не существовало вовсе.

– Аннуся! Светик! – воскликнул он, ловко подхватив поднос и с легкостью швырнув его на стол. – Дай же поглядеть на тебя! Боже, сколь же ты сделалась хороша и пригожа! Я всегда знал, что ты будешь красавицей, но чтоб такова?! – Он обежал нескромным взором заманчивые стати девушки.

«Красавица?! – возмущенно подумала Юлия. – Да она совершенная кукла!»

Почему-то ее невыносимо раздражала эта Аннуся, которая так и сияла в преувеличенных – слепому видно! – комплиментах этого господина. Более того! Он пожимал ее пальчики, а другой рукой – прочим это было неприметно, а Юлия-то все отлично разглядела! – украдкой оглаживал не только изящную талию, но и сдобный задок. И эта глупая Аннуся, вместо того чтобы отпрянуть, как следовало бы скромной девице, ежилась и млела под его ласкою, будто кошечка под хозяйской рукою.

– Ох, какая цепочка! – Зигмунд уставился на Аннусин крестик, который скорее лежал, чем висел на пышненьких грудях, расчетливо приподнятых тесным корсажем, и даже тронул эту цепочку, чтобы лучше разглядеть, ну а что ладонь Зигмунда походя огладила волнующую грудь, опять же заметила только Юлия. Впрочем, нет: могучая пани Юзефа, вошедшая со вторым огромным подносом, тоже не оставила без внимания поведение дочери и так резко свела свои широкие черные брови, что Юлия даже удивилась, как это они не столкнулись с грохотом, подобно двум грозovým тучам.

– Аннуся! Помогай! – рявкнула хозяйка, и девушка отпрянула от ласкового обольстителя, который, впрочем, успел шепнуть ей напоследок нечто такое, от чего кровь едва не брызнула из ее раскрасневшихся щечек, а груди от волнения почти выскочили из корсета.

«Убей бог, если он не позвал ее на ночь в свою постель!» – с внезапной, свойственной только женщинам прозорливостью догадалась Юлия и послала Аннусе самый презрительный взгляд, на который была способна. Однако тут же пыл ее поутих, ибо она задумалась о собственном положении.

Бог с ним, с неодобрением этого Сокольского! В конце концов, Юлия и сама знает, что рыльце у нее в пушку. Но с Адамом-то что приключилось?! Даже если он знаком с Зигмундом и растерялся в первое мгновение, почему сейчас не встать из-за стола под предлогом усталости, не удалиться в предназначенные им покои и забыть о неприятной встрече? Ведь они теперь принадлежат друг другу, и грядущая ночь принадлежит им – как и вся жизнь!

Она радостно встрепенулась, когда Адам поднялся, но тут же ее будто ледяной водой окатили, ибо он и не глянул на свою нареченную, а, повинувшись неприметному жесту Зигмунда, вышел вслед за ним на крыльцо.

Бледнолицый Вальевский удалился умываться в сопровождении Юзефы, хозяин где-то хлопотал, Аннуся, верно, приводила в порядок чувства и корсет, так что Юлия осталась в

горнице одна и сиротливо сидела у стола. Только черная толстая моська, лежавшая у порога, время от времени тьякала на нее, словно тоже была исполнена презрения к беглянке.

О чем они там говорят? Почему так затрепетал Адам при встрече с Сокольским? А если это какой-то родственник, изумленный тем, что Адам не в Варшаве, в своей школе подхорунжих, а за много миль от нее, вдобавок – в компании с дамой! А вдруг... Вдруг все дело в даме, то есть в Юлии? Вдруг Адам помолвлен или, спаси господи, женат, а Сокольскому об этом известно и сейчас решается ее судьба?!

Воровато оглянувшись, она подхватила и шмыгнула в сени. Дверь на крыльцо была чуть приотворена, и девушку сразу охватило сквозняком, однако его ледяные объятия были дуновением зефира в сравнении с леденящими душу словами, доносившимися с крыльца.

– Какого черта ты здесь делаешь?! – яростно вопрошал Зигмунд, но ответа Юлия почти не расслышала: верно, у Адама вовсе пропал голос. Она разобрала что-то вроде «встреча», «сердце», «жениться», – поняла, что Адам рассказывает об их планах, и преисполнилась горячей надежды, что теперь-то этот невесть откуда взявшийся Сокольский оставит их в покое.

– Ну прямо Троил и Крессида! – с иронией воскликнул тот. – Все это так трогательно, что я чувствую колюще в боку! Одного не могу понять: два-три дня подождать нельзя было?! К чему такие хлопоты? Понимаю, сейчас ее отец, конечно, против вашего брака, но ведь после завершения событий девица сама упала бы к тебе в руки, как созревший плод! Чего молчишь? Или... Ах вот оно что! Так ты не случайно ударился в бега именно сегодня? Ты... дезертировал?!

Юлия ожидала, что теперь-то раздастся возмущенный возглас Адама, но тот не издал ни звука. Получается, что этот Зигмунд прав?! Однако откуда дезертировал Адам? Ну, бросил учебу – так разве это преступление? И разве причина для того ужаса, который владеет Адамом, не давая ему и слова вымолвить в свою защиту?

– Ну, вот что, Коханьский! – произнес Зигмунд после недолгого, но тягостного молчания. – Я вижу только один способ все поправить. Ты немедленно возвратишься в Варшаву, чтобы завтра же быть в деле, к которому призывают нас долг и честь! На тебя замкнуто слишком многое, чтобы я мог позволить тебе вот так всем пренебречь, подвести товарищей, поставить под удар общее дело! Как говорится, еден за вшистках, вшистки за одного! ⁶ К тому же промедлим сегодня – потеряем завтра. История, знаешь ли, не ждет опоздавших!

Адам что-то прошепел в ответ, однако Зигмунд только хмыкнул:

– *Se non e vero, e ben trovato* ⁷. Коли уж между вами и впрямь такая великая страсть, то красотка дождется своего рыцаря, хотя бы и на этом постоялом дворе! Вернешься к ней с победой, овеянный славой. Кроме того, ты ведь понимаешь, что княжне Юлии Аргамаковой в такой день, каким будет завтрашний, лучше оказаться подальше от Варшавы.

Потом, позднее, Юлия не раз удивлялась, как же ее тогда не озадачили, не напукали намеки Зигмунда на какие-то особые события, долженствующие свершиться в Варшаве. Должно быть, она слишком была поглощена своим, чтобы думать о чем-то другом: любовью к Адаму и его любовью к ней... Страхом, что вскрыется ее ложь. Что она уже вскрылась!

– Юлия Аргамакова? – воскликнул Адам, от изумления наконец обретший голос. – Да нет, вы что-то путаете!

– Пикантная история! – пробормотал Зигмунд. – Ты путешествуешь с особой, которая сверх редкой красоты считается еще и одной из богатейших невест в империи – да за такое счастье сколько рыцарей головы бы положили! – и при этом не знаешь, кто она такая?!

⁶ Один за всех, все за одного! (польск.)

⁷ Если и неправда, то хорошо придумано (ит.).

Поодаль прошелестели чьи-то торопливые шаги, и Юлия отпрянула к стене. Стены, впрочем, там не оказалось, и она едва не рухнула в маленький коридорчик, оканчивающийся лесенкой. Она безотчетно стала взбегать по крутым ступенькам, но почти сразу задохнулась и замерла, поникнув на перилах. Почему-то вспомнила, как обожала в детстве подслушивать под дверь, а старшие не знали, как ее отучить от этого. И вот как-то раз за чаем отец вдруг уставился на нее с ужасом и воскликнул: «Что с твоими ушами? Почему они так выросли?!» Юленька недоверчиво схватилась за голову, а матушка подлила масла в огонь, грустно объяснив: «Так всегда бывает с теми, кто подслушивает!» Как назло, в столовой не оказалось ни одного зеркала, и тогда Юленька уставилась в сверкающий круглый бок самовара, надеясь, что над нею подшутили. О ужас! Мало того, что у нее и впрямь выросли уши, – все лицо ее исказилось до неузнаваемости! В самоваре отражалась вовсе не она, а некое расплывшееся, как блин, чудище! Она разразилась рыданиями и, даже когда загадка самовара разъяснилась, долго еще не могла избавиться от страха! С тех пор она навеки зареклась подслушивать и преступила свою клятву только сегодня. Однако она невольно ощупала голову, поддавшись детским кошмарам... впрочем, в этот момент она, пожалуй, предпочла бы выросшие уши тому, что случилось.

Черт принес этого Зигмунда! Никакой он не Сокольский, а самый настоящий Вороновский! Черный ворон, ишь раскаркался: «Ар-ргмакова! Ар-ргмакова!» Ему-то какова печаль? Ему-то что до Юлии? Разве он поймет, что сначала так сложились обстоятельства, а потом уж она не могла признаться, считая все игрой, просто детской игрой! Сейчас игра зашла слишком далеко, и, как ни оправдывала себя Юлия, она не могла не признать одного: Адам, конечно, обманут.

2. Рыцарь спасает даму

А виновата во всем была оперетка. Модная оперетка про какую-то юную герцогиню – Герольштейнскую, что ли, – которой было очень тоскливо и одиноко во дворце, и она, шутки ради, переделалась в платье своей субретки и отправилась на прогулку, а в лесу повстречала молодого красивого егеря – и влюбилась в него. Вот это была жизнь! Не то что в ее дворце, где правят этикет, скука, где только и говорят о войне с соседним герцогом! Опасаясь потерять любовь, герцогиня назвалась вымышленным именем и решила оставить все: богатство, власть, замок, где она так скучала, и бежать со своим милым куда глаза глядят... Однако бдительные герцогинины министры изловили ее – и егеря тоже – на месте преступления. Тут-то и выяснилось, что егерь – вовсе не егерь, а тот самый соседский герцог, с которым нашей герцогине следовало начать войну! Разумеется, вместо войны сыграли свадьбу...

Почему-то сия незамысловатая история тронула Юлию до глубины души. Вот здорово, подумала она тогда, если бы такое чудное приключение произошло со мной! А то жизнь так скучна, так однообразна! Она бросила упрек небесам и попросила для себя чего-нибудь эдакого, невероятного... Не зная, что ей предстоит открыть для себя старинную мудрость: «Будь осторожен, прося чего-то у Бога: он ведь может и выполнить твою просьбу!»

С чего началось приключение отчаянной герцогини? С переодевания. И первым делом Юлия перевернула все шкафы и сундуки и отыскала синее мериновое платье с белой кружевной отделкой – одно из ее домашних платьиц времен еще институтских. Буколки уложила как можно скромнее, ну а капор своею незамысловатостью заставил бы зарыдать от умиления даже самую суровую бонну. Она знала все черные ходы в доме, укромные переходы, известные только прислуге, и ей не составило труда ускользнуть от бдительного ока взрослых этими тайными путями. Ну а если и заметила странно одетую барышню какая-нибудь захопотавшаяся покоёва⁸, то ей и в голову не пришло бы бежать рассказывать об этом его высокоблагородию или хозяйке: своенравная паненка всегда делала что хотела, могла весь дом на голову поставить своими причудами, так что за беда, коли идет куда-то не столь разряженная, как обычно?!

Юлия без помех выбралась и за ограду сквозь укромную калиточку в проулок, повернула за угол – и просто-таки ощутила, как растворилась в суете и гомоне Нового Свята – главной променады Варшавы.

Новый Свят, в просторечии Новик, для Варшавы – то же, что Невский проспект для Петербурга, Елисейские Поля для Парижа и Унтер дер Линден для Берлина. Все модные лавки, кофейни, клубы, вся толчея и блеск, все хорошенькие женщины и задорные молодые люди... О, идти по Новому Святу было совсем не то, что проезжать по нему в экипаже, украдкой поглядывая сквозь окошечки на кипение веселой варшавской суеты! Воздух Варшавы пьянил, дурманил, девушке хотелось зайти в каждую лавочку, постоять у всякой витрины, примерить каждую шляпку, напяленную на восковую раскрашенную болванку, приложить к платью всякий кружевной воротничок, нацепить на запястье вот эту дешевенькую брансолетку из бурштына⁹, приостановиться возле всякой торговки, купить «сахар-р-но морожено», крутым шариком или сдавленное с двух сторон толстыми вафлями, или золотистых, пузатеньких, горячих, усыпанных маком бубликов, называемых «пляцки», или – о ужас! – насыпать в карман семечек! И букетик, хоть самый простенький, из братков, левконьев или вовсе румянок. Ну что-нибудь делать такое, чего она никогда не делала! Однако цель ее пути была впереди. И она не хотела разменивать на маленькие радости большую, главную, заветную. Чашка кофе в «Вейской каве» – вот это приключение! Вот это эпатаж!

⁸ Горничная (польск.).

⁹ Браслет из янтаря (польск.).

«Вейска кава» – «Деревенская кофейня» на окраине Варшавы, место самое любимое и всеми посещаемое, деревенский, сельский, хотя и внутри города (его отделяют от окраины Александровская площадь и парк Лазенки), кофейный дом. Все Юлечкины подруги там побывали и наперебой рассказывали о прелести этого местечка, о раскованности (но не распушенности!) тамошних нравов. Еще прочитав стихотворение господина Вяземского «Станция», она мечтала о «гарнушках»¹⁰ «Вейской кавы» как о символе раскрепощения и свободы нравов, о которой без конца болтали все подружки, которая входила в моду и, разумеется, яростно презиралась в хорошем, приличном обществе. Впрочем, Юлия была уверена, что хорошее общество всегда имеет душу семидесятилетней старухи и ненавидит молодость во всех ее проявлениях. Ну и уж само собою – в доме Аргамаковых посещение «Вейской кавы», этого гнездилища разночинцев, загоновой шляхты¹¹, как презрительно выразался князь Никита Ильич, было мало сказать запрещено – немислимо, невозможно! А коли так, Юлия, «неслух своеобычный», непременно должна была там побывать.

И побывала! Она сидела на широкой деревянной лавке, за широким деревянным столом, она глядела на очаг, уставленный множеством кофейников и гарнушек с кипячеными сливками, она с упоением прихлебывала горько-сладкую, мутно-пенистую «каву» – как все! как взрослая! как настоящая эмансипе! – и даже мерзкий привкус цикория¹² казался ей обворожительным. Сначала Юлия ежилась от смущения, но постепенно освоилась и даже отвечала, глазами, разумеется, на заинтересованные взгляды молодых шеголеватых панов, втихомолку мечтавая, чтобы кто-нибудь попытался с нею заговорить. Ужасно хотелось услышать какой-нибудь изящный, легкий комплимент! Она даже пережила бы без истерического смеха, если бы ей сказали это жуткое: «Ах, урода! Ах, яка урода!»¹³ Но хоть мужчины и щедро одаривали ее взорами, никто, даже золотоволосый, очень красивый юноша, который просто-таки глаз с Юлии не сводил, не проронил ни словечка. Пооглядевшись, она поняла, что именно мешает ей ощутить себя на вершине блаженства: она явно перестаралась с маскировкой! За три года, пока синее платье пылилось в шкафу, мода разительно переменилась. Оказывается, не только в Народовом доме, на балах в Собрании или на приемах в Бельведере¹⁴ дамы одеваются по последней парижской картинке. Хорошенькие варшавянки нипочем не желали отставать. И теперь уже никто не носил платья, перехваченные под грудью (слава богу, мода времен Французской революции не возродилась с новыми волнениями в Париже). Все платья обтягивали талию, расходясь складками весьма широко, юбки изящным веером распадались по полу, закрывая ноги, так что Юлия оказалась чуть ли не единственной дамой, выставившей на всеобщее обозрение не только туфельки, чулочки, но и кружевные оборочки панталон. Это же надо было так опростоволоситься! С волосами, кстати сказать, тоже оплошка вышла. Шелковый маленький капор выглядел не моднее корзины с цветами и фруктами, какие приходилось в 80-х годах прошлого века носить Юленькиной бабушке, баронессе Корф. Дамы и девицы теперь надевали береты в мягких складках, тюрбаны, затейливо ниспадающие шарфы, ну а букли хоть и не исчезли вовсе, но смело вытеснились изысканнейшими узлами на затылке. Одна дама вообще устроила на своей смоляной головке и то, и другое – это было прелестно! И так смело, так оригинально! «Нет на свете царицы краше польской девицы!» – вспомнила Юлия балладу Мицкевича и поджала губы, уныло порадовавшись, что сидит в самом уголке кофейни и на нее никто не обращает внимания. Главное дело, полны шкафы наимоднейших туалетов, а выглядит –

¹⁰ Глиняный кувшинчик (*польск.*).

¹¹ Мелкие, беднейшие дворяне (*польск.*).

¹² В ту пору из-за антиколонизальной системы французского правительства во всей Европе почти невозможно было выпить настоящего кофе.

¹³ Ах, красавица! Какая красавица! (*польск.*)

¹⁴ Дворец в Варшаве, где находилась резиденция русского наместника, великого князя Константина Павловича.

хуже некуда! Наверное, тот красивый белокурый пан смотрел на нее вовсе не с восхищением, а с презрительным недоумением: откуда, мол, взялось это такое чучело?

Сияющий день померк. А стоило представить, что придется возвращаться и тогда уже все увидят ее обветшалый туалет, как настроение и вовсе испортилось. Однако Юлия и вообразить не могла, какой ужас ждет ее впереди.

Она просидела в «Вейской кафе» не меньше двух часов, и, хочешь не хочешь, наступала пора уходить. Юлия еще раньше заметила, что посетители, поднимаясь из-за стола, что-то кладут рядом со своими кружками, а потом половой, или, как его здесь называют, кельнер, уносит грязную посуду и то, что оставлено. Она пригляделась – это были монетки в один злотый. И, только увидав эти блестящие кругляшки, она поняла, в какую жуткую попала историю! У нее не было не то что злого – ни копейки, ни алтына, ни полушки, ни гроша ломаного! Еще ни разу в жизни ей не приходилось что-то покупать самой, а значит, платить. Всегда рядом была матушка, которая указывала, куда прислать выбранную Юлией безделушку: дома и расплачивались с лавочником. Почему-то ей и в голову не пришло, что может быть иначе! Наверное, поддайся она какому-нибудь соблазну еще на Новом Святе, пришлось бы назвать адрес, но отправлять кельнера в особняк отца получить за чашку кофе?! Счет на злотый?! Да и кто поверит, что плохо одетая паненка – дочь всесильного генерала Аргмакова?

Вдобавок поляки, уж конечно, не упустят случая поиздеваться над попавшей впросак русской. Нет, нельзя даже упомянуть имя отца, нельзя его скомпрометировать. Ох, не обещайся скандала! Кельнер уже и так поглядывает с подозрением. Что же с ней сделают? Позовут городского? Поташат в участок? Выгонят взащей? На глазах у всех, у всех, и у того золотоволосого красавца?! Мало того, скажет он, что одета безобразно, так еще и мошенница! И она едва не шмыгнула от ужаса под стол, когда этот красивый пан вдруг подошел к ней и почтительно поклонился.

– Пшепрашам, панна... – Он запнулся, робко взглядывая в испуганные глаза Юлии. – Не вы ли уронили вот это?

Молодой человек нагнулся – Юлия проворно спрятала ноги под скамейку, чтобы он не заметил проклятые кружева панталон, – и поднял серебряный кружок.

Злотый! Боже великий! Ее спасение!

– Да, – не задумываясь, воскликнула Юлия. – Дзянкую! Дзянкую бардзо! ¹⁵

Она помахала кельнеру, хмурое лицо которого выразило нескрываемое облегчение, и с признательностью воззрилась на своего спасителя, стараясь не углубляться в опасные размышления о том, впрямь ли монетка валялась под столом или юноша каким-то образом угадал, что у Юлии нет денег, и решил заплатить за нее столь деликатным способом. В таком случае он не только очень красив, но и умен. Чем не рыцарь? Может быть, кто-то скажет, что плохие настали времена, если прекрасных дам теперь спасают не от злых драконов, а от обманутых кельнеров, но еще вопрос, кто более кровожаден и страшен во гневе! Во всяком случае, Юлия была благодарна своему рыцарю во фраке и шляпе куда больше, чем какая-нибудь Кунигунда или Розалинда своему Альберту или Готфриду в шлеме и тяжелых латах. И он был так красив, так ласково улыбались янтарные глаза в обрамлении круто загнутых золотистых ресниц, так очаровательно вились надо лбом мягкие кудри, так трогала душу легкая улыбка, что Юлия не смогла отказать пану Адаму Коханьскому, когда он решил проводить ее до дому.

Оказалось, он учился в школе подпрапорщиков. Это несколько погасило романтический нимб, уже сиявший вокруг его золотоволосой головы. Юлии, часто видевшей подпрапорщиков в их черных пелеринах в Лазенках, где школа помещалась, совсем недалеко от Бельведера и от прогулочных аллей, по которым русские дамы катались верхом, они казались необычайно угрюмыми и неприязненными существами. К тому же отец всегда был против обучения

¹⁵ Спасибо! Спасибо большое! (польск.)

польской молодежи польскими же наставниками, уверяя, что там насаждают идеи возрождения Великой Польши и школа подпрапорщиков – хорошая пороховая бочка, так же, впрочем, как Варшавский и Виленский университеты. Однако все подпрапорщики, вместе взятые, это одно, а вот Адам – совсем другое! Прогулка с ним по Новику, а потом по Краковскому предместью, до самой Замковой площади, вдоль стены, опоясывающей Старый город, показалась Юлии упоительной. Руки ее были нагружены теми самыми букетиками из братков, левконьев, румянок, о которых она так мечтала! Адам, верно, решил не оставить без внимания ни одну цветочницу. Конечно, ни от одного из своих поклонников Юлия и помыслить бы не могла принимать такие бесцеремонные подношения, но сейчас по варшавским улицам рядом с этим пригожим будущим подпрапорщиком шла вовсе не одна из богатейших невест России, Юлия Аргамакова, а Юленька Корф, приехавшая из России навестить свою дальнюю родственницу, служившую горничной у супруги генерала Аргамакова. Она решила уж не вовсе завираться, однако и в придуманном не стеснялась, уверенная, что ее упоительное своей внезапностью приключение едва ли будет иметь продолжение. Однако, прощаясь с нею у маленькой калитки на задах аргамаковского дома, Адам вдруг робко попросил о новом свидании.

Юлия растерялась. Об этом она и мечтать не смела! Все происходило в точности как в той оперетке про отчаянную герцогиню. И все-таки – бегать на свидания! С мужчиной! Будто какая-нибудь горничная! «Нет, настоящая эмансипе!» – тут же поглядела на это Юлия с другой стороны и в нерешительности взглянула на Адама, всем сердцем желая сказать «да» – и боясь этого.

Адам с улыбкою взял ее за руку – из целей той же маскировки Юлия не надела перчаток – и поднес к губам. Но не приложился почтительно, а повернул ладонь и, тихонько подышав на нее, провел губами от запястья к кончикам пальцев, щекоча нежную кожу своим теплым дыханием и шепча:

– Придете, панна Юлия?

Он не целовал ладонь – только касался еще шепчущими губами, и эти щекочащие прикосновения вдруг отняли у Юлии силы. Дрожь прошла по телу от груди до бедер, затаилась в самом секретном местечке, отозвалась сладкой судорогой. Она почувствовала, как загорелось лицо. Вырвала руку. Метнулась в калитку, не позаботившись запереть ее за собой, но успев отчаянно шепнуть в ответ:

– Приду! Приду! Ждите!

* * *

Вот так все это и началось, но если Адам Коханьский оказался столь самонадеян, чтобы вообразить, будто именно он прельстил и соблазнил эту сорвиголову, то он ошибался. Прельстили ее недозволенная свобода, смелость обхождения и уверенность, что наконец-то она сама решает участь свою.

Ей не раз приходилось слышать споры отца с матерью: в кого дочка такая уродилась? Отличаясь почти портретным сходством с отцом, Никитою Аргамаковым (разумеется, естественно смягченным и приглаженным ровно настолько, чтобы дерзкое обаяние отца сделалось главным очарованием дочери), она унаследовала от матушки своей, Ангелины, скрытую пылкость чувств при показной мягкости и нежности – внешность весьма обманчивую! Романтический тревожный дух ее, замкнутый в слишком тесной сфере, бился как птица в дорогой клетке. И не зря князь Никита Ильич при виде дочери частенько вспоминал, как принц де Линь сказал Екатерине Великой: «Если бы вы родились мужчиной, то, конечно, дослужились бы до фельд-маршала!» И ее ответ: «Не думаю. Меня убили бы в унтер-офицерском чине!»

Вот из таких была и дочь его, про которую даже денщики говорили, мешая восхищение с неодобрением: «Не девка, а ветер из крымских степей!» Юлия качалась на качелях, едва

не перекидываясь через перекладину, стремглав носилась в горелки или скакала без седла, запрыгивая на коня с ходу, с разбега. Отец, видевший в ней враз и дочь, и сына, которого он так и не дождался, шутки ради научил ее стрелять и фехтовать, и делала это Юлия преизрядно. Не отставала дочь от отца и на охоте, которой тот предавался со страстью, ибо она напоминала ему войну. Когда князь Никита Ильич, в военной фуражке, накиннув на одно плечо бурку, верхом на отличной лошади, как бы влитый в нее, молодецкато отправлялся в отъезжее поле в сопровождении многочисленных псарей, одетых в охотничьи чекмени ¹⁶, с перекинутыми через плечо рогами и с собаками на сворах, Юлия непременно была рядом, причем не в модной амазонке и на английском седле, а одетая по-мужски и по-мужски верхом, и никакие уговоры не могли ее от этой привычки отучить. Ни отец, ни мать и не догадывались, что Юлия таким образом отвоевала себе отнюдь не свободу движений на охоте! Свободу нравов!

Многих женщин томили стеснительные нравы того времени, и они пытались протестовать против отжившего порядка вещей ребяческой удалью, подражанием мужчинам, убежденные, что независимая жизнь уравнивает положение женщины с независимым положением сильной половины рода человеческого. Дамы и даже барышни категорично заявляли: «Довольно! Теперь не старая пора!», начали курить в обществе, носить платья на манер мужской одежды и сапоги, стричь волосы, вольно вступать в общую беседу. В Варшаве все знали некую даму из хорошей семьи, которая даже голосом подделывалась под молодых людей, а вечерами расхаживала по улицам в военной шинели и на вопрос будочников ¹⁷: «Кто идет?» отвечала: «Солдат!»

Рядом с такой детской, безотчетной жадой свободы существовал протест более яркий, хотя столь же безрезультатный. Из раззолоченных чопорных гостиных, из приличных бальных зал особо горячие, несдержанные головы кинулись в кабаки и рестораны, закружились в шумных оргиях с шампанским, презрев все нужные и ненужные условности, подражая разгулу и кутежам мужчин.

Новая жизнь, новые нравы, новые веяния проникали всюду, не просветляя, а опьяняя головы. Женщинам хотелось привольной, другой жизни, но какая она вне кутежа, вне грубости, они понять еще не могли. Ища свободы, находили разнузданность, распущенность. Ну а для таких пылких натур, как Юлия, живших не умом, а сердцем, никем не руководимым, вольно предававшимся фантазии, желанная свобода и воля сводились прежде всего к свободе в любви.

Впрочем, хотя прежде руки Юлии не раз просили, родители не неволили ее в выборе – точнее, в отказах. Так, одному императорскому курьеру, человеку премилого обхождения, с порядочным состоянием и связями при дворе, она отказала лишь из-за его фамилии – Пивововов. Если в мужском роде это звучало более или менее забавно, то в женском – Пи-во-во-во-ва – просто чудовищно! И уехал в Санкт-Петербург бедняга курьер, едва не плача, не зная и не понимая, за что была немилостива к нему красавица. А он был всего лишь такой же, как все, всего лишь богат, хорош собою, словом, завидный жених, и это вызывало два чувства у своенравной девицы: скуку и неприязнь.

О, родители могли позволить себе не неволить дочь! Юлия до сих пор толком не знала, в шутку или всерьез отец к месту и не к месту вспоминает своего боевого друга, графа Бельша, с которым шел в двенадцатом году от Москвы до Парижа, а потом, отыскав во Франции похищенную Ангелину с Юленькой, обменялся с сотоварищем словом помолвить свою дочь с его сыном, которому в ту пору было всего семь лет. Впрочем, и невеста недалеко ушла от жениха: ей и года не было во время той заглазной помолвки! И хотя с тех пор ни единого разочку не объявлялись ни старший, ни молодой Бельши в доме аргамаковском, Юлии не больно-то легко было жить под дамокловым мечом могущего быть отцовского безоговорочного заявле-

¹⁶ Короткие полушубки.

¹⁷ Караульные возле будок на въезде в город.

ния: «Известно ли вам, милостивая государыня, что вы выходите замуж?..» Такие заявления в те поры были обычным делом, и Юлия могла почитать себя счастливой хотя бы оттого, что знала фамилию своего нареченного! Ей хотя бы не предстоит услышать жутковатого окончания фразы: «...а за кого – узнаете после!» И все-таки она не могла поверить, что такая судьба ей уготована. Выросшая в семье, вековым заветом которой была смертельная, обоюдострая любовь, многожды слышавшая истории жизней Елизаветы Елагиной, Марии Строиловой и матери своей Ангелины Корф¹⁸, Юлия доподлинно знала: на меньшее, чем продолжение семейных традиций, она не согласна. Она не уподобится множеству своих подруг, которые уверены, что любовь – лишь не существующая в реальности тема для разговоров и стихов модных Гюго и Мицкевича, а потому скорее готовы были выйти замуж без любви, чем остаться в старых девах: мол, сама соскучишься и всем наскучишь! Она будет ждать, искать, надеяться! И Адам, романтический красавец, всего лишь поцеловавший ее руку, но так, что она потом всю ночь видела буйно-страстные сны, показался ей именно тем героем, о ком смутно грезила душа.

Конечно, и помыслить невозможно было, чтобы отец позволил ей не то что замуж – на свидание к Адаму идти! Да и тот, конечно, еще сто раз подумал бы, прежде чем подойти к столу в «Вейской кафе», когда бы знал, что за ним сидит не какая-то перепуганная хорошенькая паненка, а дочь всевластного генерала Аргмакова! Разве что начальник варшавских жандармов Рожнецкий стяжал более неприязни в Польше, чем этот генерал от кавалерии, в 1813 году бравший Варшаву воистину огнем и мечом, теперь – один из ближайших друзей великого князя Константина Павловича, ненавидевший даже упоминание о Речи Посполитой и не скрывавший раздражения ко всему, что казалось ему чуждым русской жизни!

В отличие от отца Юлия никакой особой беды в польском гоноре не видела. Разве просто расстаться с воспоминаниями о былом могуществе Великой Польши?! И потом, разве справедливо, к примеру, что Франция, зачинщица войны, осталась независимой, просто сменила диктатора на законного, Богом данного монарха, а Польша вовсе утратила волю свою и была насильственно разделена между победителями?! Понятно, что поляки не жалуют русских, видя в них захватчиков. Впрочем, чем так уж особенно хуже жизнь в Варшаве, чем жизнь, скажем, в Москве, было бы затруднительно определить даже самому недоброжелательному взору.

Рассуждая так, Юлия не учитывала одного: французы для русских были чужаками, поляки же – братьями, предавшими братьев своих в последней войне... Как предавали, впрочем, нередко и в века минувшие, снюхиваясь то с турками, то с немцами, то с ливонцами, то со шведами – лишь бы посильнее уязвить Россию во имя удовлетворения того самого ненасытного польского гонора, который вошел в пословицу. Юлия была слишком молода и, честно сказать, еще глупа, чтобы видеть в каждом частном поступке или чувстве отражение вековой неприязни двух славянских народов. Она знала одно: ей безумно нравился Адам, однако не видать его как своих ушей, ежели положиться на добрую волю отца – да и самого Адама. «Что бы ни говорили о возвышающей силе любви, все любят ради себя, а не ради того, кого любят!» – думала Юлия. Вот он, вожденный случай взять наконец свою судьбу в свои руки, распорядиться ею, как желательно! А если ради этого нужно пойти на небольшой обман – за чем дело стало?!

¹⁸ Персонажи предыдущих романов Е. Арсеньевой.

3. «Ваш милый думает о вас»

...Что-то мягкое обвилось вокруг ног Юлии, и она вздрогнула, с трудом очнувшись. Это кошка, большая белая кошка запуталась в широком подоле амазонки и никак не могла выбраться. Юлия распутала киску и присела на корточки – погладить, почесать за ушком. У нее тоже был кот – раньше. Этот большой белый зверюга обворожительной наружности слыл великим плутом и вором. Матушка Юлии и прислуга бывали от него в отчаянии. Кухня и кладовая то и дело подвергались его набегам. Он крал оттуда провизию, а на мышей не обращал никакого внимания. Иногда и в соседних домах страдали от его походов. Как он туда пробирался, оставалось тайной. Юлия помнила, как весь дом взбудоражила одна история. На чердаке висел бумажный куль с окороком, закопченным к какому-то празднику. Подлец-кот умудрился прогрызть куль. Он сделал в нем этакую дверку, устроив там себе жилище – с готовым полом и потолком. Сало постепенно исчезало, о чем никто не ведал, а кот непомерно жирел. Скоро от окорока остались одни тоненькие стенки. Настал канун праздника. Повар отправился на чердак, подошел к кулю... Оттуда выскочил кот, а сала как не бывало!

Жалобы на кота сыпались со всех сторон, но Юлия не давала его в обиду: нахал улестил ее своей красотой и ласковостью! Наконец прислуга на кухне потеряла терпение: украдкой от барышни решено было его повесить. И повесили же! Но, видно, петля была слабо затянута или кота слишком скоро из нее вынули, только он ожил: крупным и ловким ворюгам, как известно, везде удача! Юлия исходатайствовала на кухне для него прощение в надежде, что полученный урок не пройдет для него даром. Действительно, недели три-четыре после злополучной казни кот вел себя примерно, а дальше не выдержал и сбился на прежнее. Прислуга терпела, стиснув зубы, лишь бы не расстраивать барышню. Летом его взяли в деревню, и он так прирастал к вольной охоте на птиц и мышей, что, привезенный в город, сам сбежал в имение – там и остался.

Юлия ощутила улыбку на своем лице и подумала, что, может быть, не так уж все страшно обернулось, как ей показалось с перепугу. В конце концов, ее любовь к Адаму не уменьшилась оттого, что он бросил какое-то там дело ради побега с нею. Так неужто ж и Адам не смягчится, поразмыслив, сколь многое она покинула ради него? Ведь даже в самые отчаянные, захватывающие мгновения их скоротечного романа она не переставала надеяться, что рано или поздно сможет вернуться с мужем домой, отец с матерью простят ее ослушничество, поймут. Любовь извиняет все, а потому Адам должен простить ее! Что бы сделать, как бы поступить, чтобы уж наверняка этого добиться? Не поговорить ли с ним, не объяснить ли начистоту? Или, напротив, затаившись, ждать, пока он сам явится к ней с упреками, и развеять все их слезами, мольбами, ласками?

Ласками? Юлия задумалась. Адам такой нежный, такой ласковый – устоит ли он, если Юлия кинется к нему с жаркими поцелуями? Неужто не растопят они лед его обиды?

Ах, что делать, что делать? Вот ежели бы оказался рядом кто-то премудрый, преопытный, с кем можно было посоветоваться!

Юлия задумчиво поднялась по лесенке и очутилась в квадратном коридоре, уставленном по углам креслицами и диванчиками. Даже кадка с фикусом поместилась в этом тесном, но уютном местечке, назначенном, верно, для отдыха и бесед панов проезжающих. Однако сейчас в укромнейшем уголке возле деревянного инкрустированного столика сидела всего одна немолодая женщина, одетая в черное платье с белым кружевом и черный чепец. Единственное, что разнообразило ее унылый туалет, это тонкая, тоньше шелка, шаль дивного переливчатого оттенка: не то темно-синего, не то темно-зеленого, да еще с золотым блеском. Дама была столь маленькая, тщедушная, что пряталась за могучим фикусом, будто птичка от дождя – под веточкой.

Юлия отвесила незнакомке легкий полупоклон и задумчиво воззрилась на полускрытые портьерами двери, выходившие в коридор: которая, интересно бы знать, ведет в отведенную ей комнату? Хорошо бы там отдохнуть, поуспокоиться, обдумать, как быть дальше...

И вдруг какое-то движение отвлекло ее взор. Она глянула в сторону дамы – и увидела, что та тасует карты и раскладывает на столике пасьянс.

Юлия любила карты: не игру, а именно пасьянсы. Любила пустяшные вопросы, на которые можно было найти ответ, если картинки сложатся так, а не иначе, любила двучленные, двусмысленные изображения карточных королей, дам, валетов, их застывшие, надменные, насмешливые лица, в которых таился намек... Карты могли пророчить, и Юлии всегда хотелось по-настоящему поворожить на судьбу, но ни одной истинной гадалки, вроде знаменитейшей мадам Ленорман, предрекшей Наполеону его восход и закат, она еще не видела. А вот эта дама в черном очень похожа на гадалку...

И не успела она так подумать, как дама подняла на нее лицо – его тонкие черты, подернутые вуалью морщинок, хранили следы красоты замечательной! – и с улыбкою спросила:

– Не желает ли пани изведать свою судьбу?

Юлия изумленно уставилась на даму, почти испуганная тем, что небеса так скоро отозвались на ее мольбу и послали ей столь необходимую советчицу. В ее по-птичьи остреньком личике было что-то маняще-коварное, льстиво-лживое, как во всех карточных дамах, вместе взятых, и Юлия, неотрывно глядя в миндалевидные, жгуче-черные глаза, глядевшие на нее с властно-насмешливым выражением, согласно кивнула. Как зачарованная подошла она к даме, села, покорно сдвинула («Левой рукой, от сердца!») часть колоды, потом еще раз, еще... потом с быстротою вихря на столе раскинулся веер карт – и гадание началось.

Надобно сказать, что для этой цели незнакомка вынула из шелковой черной сумочки совсем другую колоду – не ту, которую использовала для пасьянса, ибо «судьба пустых забав не любит», как пояснила она с чрезвычайной серьезностью, от которой у Юлии холодок побежал по спине. Что же она только что проделала со своей судьбой, как не пустую забаву?! Нет, эта гадалка оказалась здесь не случайно! Ее Бог послал, чтобы выбрать верный путь, ее и ее карты!

Юлия никогда прежде не видела таких карт: фигуры на них были изображены в полный рост, и когда она хотела перевернуть одну даму, оказавшуюся вверх ногами, гадалка испуганно схватила ее за руку: «При перевороте фигура получает совершенно другое значение!»

– Перевернутая бланка означает, что загадывающее лицо в беспокойстве! – вглядываясь в карты, произнесла гадалка, и Юлия подумала, что ее беспокойство у нее на лице написано, да и разве обратится к гадалке человек, у которого на душе спокойно и нет тревожных мыслей? Она поправила снисходительно:

– Меня зовут Юлия, а не Бланка.

Гадалка с легкой улыбкой объяснила, что бланка – это карта, означающая Юлию. Не бубновая дама, ибо ею может оказаться вовсе другое лицо, – а именно особенная, отдельная карта бубновой масти, и это – «млада, ладна панна».

В своей привлекательности Юлия никогда не сомневалась. Карты, значит, тоже в этом уверены? Спасибо им!

– Млада, ладна панна сейчас в гостинице, – сообщила гадалка.

Поразительная наблюдательность! Неужели, чтобы установить это, нужно так внимательно всматриваться в перевернутого туза червей и короля той же масти, лежащего вниз головой, а не оглядеться вокруг?

– Перевернутые валет червей и бланка означают, что панна думает о молодом человеке, – сказала гадалка и, не успела Юлия усмехнуться: «А что, есть панны, которые не думают о молодых людях?», уточнила: – Панна полагается на одного человека (видите, бубновый король рядом с семеркой пик?), но четыре семерки гласят, что это – неверный человек!

Юлия растерянно моргнула. Адам – неверный человек?! Глупости какие. Впрочем, да, тот скаженный ¹⁹ Сокольский говорил же о дезертирстве... Ну, это ничего! Слово «неверность» имеет для Юлии, как и для всякой женщины, одно, совершенно определенное значение.

И тотчас гадалка ее успокоила:

– Молодой человек страдает от любви.

Ну, слава богу! Знать, еще не все потеряно?

– Ах, военный переменится к вам!

Военный? Какой еще военный? Он-то откуда в колоде взялся? Ах да, это Адам с его школой подпрапорщиков! Или несусветный Зигмунд? Он, стало быть, изменится к Юлии? Да зачем ей это?! Нет, нельзя ли поточнее?

– Вы разойдетесь с молодым человеком.

Это нечестно! Ведь, моля о совете, Юлия хотела услышать одобрение, а вовсе не безжалостный приговор! Впрочем, с чего это она так отчаялась? Почему слепо поверила незнакомой женщине, которая несет что в голову взбредет? Такое пристало бы наивной до глупости Аннусе, но уж никак не институтке, не *étampirée* барышне, которая, одна из немногих, отважилась сама распорядиться своею судьбою! Надо сейчас же пойти прочь, не слушать более эту врушу...

Означенная «вруша» тем временем быстро собрала и перетасовала карты, а потом принялась метать их на стол по две-три, опутывая бланку их причудливым хороводом, опутывая Юлию вязью слов, гипнотизируя быстрыми движениями, мельканием разноцветных пятен, лживых улыбок, лукавых взглядов, суетливых гримас карточных персонажей:

– Вот восьмерка и валет червей. Ваш милый думает о вас! Но вы не должны упускать удачу. Вы собираетесь что-то сделать? И сделайте! Девятка и семерка бубен гласят, что промедление принесет вам неприятности. Последовав совету карт, вы сойдете с замечательным человеком. Видите этого короля червей? А рядом король бубен – стало быть, это влиятельный человек, *grand seigneur* ²⁰. Он ждет вас! Туз пик лег вершиной вниз рядом с бубновым валетом. Далее предстоит любовь с этим королем. Мало сказать... это страстная любовь. О, три туза, трэф, бубен и пик, указывают на беспутство... *Беспутство!* – значительно повторила она, подняв черные глазки на вспыхнувшую Юлию.

– Будьте осторожны на пути забвения приличий: что-то приведет вас в отчаяние, более того – перевернутые десятка пик и восьмерка червей пророчат внезапное потрясение, удар!

Гадалка вскинула, как птичка, свою маленькую головку и сбоку, по-птичьи, взглянула в лицо «бланки». Оно давно утратило хмурое, недоверчивое выражение: Юлия сидела как пришитая, глядя во все глаза, слушая во все уши.

Спрятав довольную усмешку тонких лукавых уст, гадалка нетерпеливо передернула плечами – и заиграли синие, зеленые, темно-золотые огни.

– Это предсказание на ближайшее время. А вот что говорят карты о том, что в ногах бланки: что ей предстоит не так скоро. Та-ак... десятка пик и перевернутая восьмерка трэф означают, что вы встретитесь с молодой брюнеткой. А перевернутый бубновый валет и червонная дама подсказывают, что это иностранка. Четыре девятки – вас ждет неприятная неожиданность. Четыре семерки – вас впутают в какую-то интригу. О, какие плохие карты! Берегитесь тюрьмы! Обратите внимание на эту десятку бубен и восьмерку червей – они пророчат вам дорогу... А что в конце ее?

Гадалка медленно, нарочито медленно вытасила две карты... пристально вгляделась в них и радостно закричала:

¹⁹ Бешеный (польск.).

²⁰ Большой барин, вельможа (фр.).

– Какое счастье! Перевернутый червонный король и туз этой же масти! Все окончится венчанием!

Юлия тупо моргнула, не веря своему счастью. Тяжелая рука страха, стиснувшая сердце, медленно разжалась. Стало быть, все обойдется?! Все беды избудутся?! Она уже расплылась было в признательной улыбке, однако гадалка никак не могла уняться:

– А теперь последняя карта. Карта судьбы!

Юлия воззрилась на нее с опаскою. Ну что это такое, будто на качелях качаешься: то взлетаешь к вершинам блаженства, то рушишься в пропасть отчаяния. Сейчас эта особа ка-ак ляпнет что-нибудь безнадежное, развеет сладостный туман мечты...

Но нет – лицо гадалки не утратило умильного выражения, когда она вытащила заветную карту. Впрочем, оказалось, что это две карты приклеились одна к другой, и гадалка восхищенно откинула руки:

– Червонная семерка! Червонный валет! Ваш милый думает о вас!

Сердце Юлии глухо стукнуло в самом горле.

«Ваш милый думает о вас!» Какие дивные слова!

Она зажмурилась, смаргивая внезапные слезы, а когда открыла глаза, ни гадалки в кресле, ни карт на столе уже не было. Сквозняк шевелил потертые портьеры на дверях, да с улицы постукивала клювиком в окошко маленькая сорока с белой грудью и черными крыльями, отливающими по временам то синим, то зеленым, то темно-золотым блеском.

Юлия невольно перекрестилась. Сорока всполошенно забила крыльями, спорхнула с окна, и только сейчас Юлия поняла, что на дворе уже вовсе ночь.

* * *

Надо полагать, разговоры внизу, в горнице, тоже иссякли, потому что на лестнице послышалась торопливая поступь хозяина, вероятно, провожающего гостей в отведенные им комнаты, и множество других шагов. Юлия заметалась в панике, ввалилась в первую попавшуюся дверь – и с облегчением перевела дух: на кровати лежал ее салоп, на полу стоял ее баул – это отведенная ей комната. Слава богу, можно здесь отсидеться, можно не показываться, можно избежать встречи с насмешливыми глазами Сокольского и негодующими – Адама, можно собраться с мыслями. Она припала к щелке: пан Валевский вошел в боковую дверь, Адам и Зигмунд – в комнату напротив ее спальни. Так, ясно. Сюда, стало быть, их определили на ночлег, обоих вместе. А она одна. И еще час назад она не сомневалась бы, что, лишь только сосед уснет, Адам выскользнет из своей постели и прокрадется к ней. А теперь? Как он поступит теперь?

Чтобы не мучиться попусту в догадках, Юлия решила заняться каким-никаким делом. Она сняла платье и как следует причесала свои круто вьющиеся светло-русые волосы, заплела в две косы – как всегда, на ночь. Пришли на память две тугих Аннусиных косы, переброшенные на пышную грудь, по которой блуждала ладонь Зигмунда, – и почему-то сразу настроение, без того неважное, испортилось еще пуще. Стиснув зубы от злости на Зигмунда, на Аннусю, на себя, она спустила на пол сорочку и принялась мыться, благо хозяйство на этой захудалой станции велось на манер европейский и постояльцев ожидали тазы и кувшины с горячей водой. Намывшись дорогим парижским мылом, Юлия хмуро вынула из баула новую тоненькую сорочку и окутала в нее свое стройное, пышногрудое и длинноногое тело, зарозовевшее после горячей воды. Сорочка тоже была розовая, и когда Юлия увидела в зеркале, как приманчиво стекает мягкий шелк с плеч, как натягивается на кончиках груди, какие нежные отсветы бросает ей на щеки, она отчаянно пожалела своей красоты, пропадающей без толку, и посулила злокозненному Зигмунду нынче же ночью свершения всяческих неприятностей, с которыми он не смог бы развязаться во всю свою жизнь.

С улицы донеслись голоса, и Юлия, не сдержав любопытства, подскочила к окну. Неужели кто-то еще приехал? Если среди новых гостей будет дама, вполне может статься, что Юлии придется потесниться: в ее комнатке есть еще одна кровать, и тогда... тогда Адам... Ох, нет, слава богу! Приезжих во дворе не было, а хозяин и работник выводили под уздцы из конюшни лошадей. Батюшки! Оказывается, она так увлеклась своим туалетом, что не слышала шагов в коридоре, не слышала, как уходил из своей спальни пан Валевский – его орлиный профиль и сутулые плечи она узнала даже во мраке, рассеиваемом лишь тусклым фонарем. Куда это он собрался?! Надо полагать, дела, зовущие его в Варшаву, столь неотложны, что вынуждают отправиться в путь ночью, не отдохнув, да еще в самую непогоду. Незаметно разыгралась на дворе настоящая буря, полил дождь, ветер беспощадно трепал голые ветви, и Юлия мимолетно подивилась, почему ноябрь по-польски зовется листопадом, в то время как уже давным-давно на деревьях не осталось ни разьединого листочка. Так, а для кого же вторая лошадь? Вглядевшись, она тихонько взвизгнула от радости, узнав приметный плащ с пелериною, обтянувший широкие плечи.

Да ведь это Сокольский! Сокольский сопровождает пана Валевского! Верно, важные дела зовут в Варшаву сего наполеоноподобного господина. И тут Юлия, ахнув, даже по лбу себя шлепнула: как же ей сразу в голову не пришло! Да ведь сей Валевский потому столь схож с Бонапартом, что он – сын Корсиканца и той самой легендарной польской красавицы Марии Валевской. Да конечно, конечно же! Юлия слышала прежде, будто Флориан-Александр-Жозеф-Колонна, граф Валевский, родился в 1810 году, а в 1824-м впервые появился в Польше. Не по годам развитый, образованный, привлекательный, вдобавок овеянный наполеоновской легендой, он заинтересовал не только варшавских столпов шляхетства, но и великого князя Константина Павловича, которого встревожило появление сына Бонапарта, носящего, кроме того, историческое польское имя. Сначала Константин пытался привлечь его к себе и, невзирая на молодость, даже предложил ему должность личного адъютанта. Но поскольку надменный юноша был решительно против службы у тех, кто сокрушил величие его отца, отношение к нему властей круто переменялось: за Валевским был даже установлен негласный полицейский надзор. Сыну Наполеона быстро надоело это притеснение, и он стал хлопотать о выезде во Францию. Когда длившиеся несколько месяцев попытки получить паспорт оказались безрезультатными, он решил уехать нелегально. Переодетый, после многих приключений, он добрался до Санкт-Петербурга, а там проник на английский корабль, которым и доплыл до Франции.

И вот эта важная персона снова в Польше... Конечно, Юлия не ошиблась – достаточно вспомнить, как был потрясен при виде его хозяин гостиницы. Что же нужно Валевскому столь срочно в Варшаве, ежели он пустился в путь в такую ужасную ночь? Но и слава богу, что дела столь неотложны: ведь с ним уехал и ее враг! Ох, как быстро, как своевременно сбылось ее проклятье! Надо надеяться, Сокольский нынче ночью промокнет до мозга костей, невзирая на свой плотный плащ. Да будь воля Юлии, к нему бы еще и хвороба какая-нибудь неотвязная прицепилась: хоть горячка, хоть чахотка!

В это время всадник, словно почувствовав что-то, поднял голову – Юлия едва успела отпрянуть от окна.

Поезжай, пан Зигмунд! Юлия Аргамакова, которой ты чуть не испортил нынче вечером жизнь, не помашет вслед! На это есть крошка Аннуся. Где она, интересно, и почему не рыдает на крыльчке: уезжает ее любовник, придется Аннусе поспать этой ночью в собственной постели! Поезжай, пан Зигмунд, скатертью дорога!

Юлия сорвала с постели покрывало и прыгнула под перину, поджимая колени к подбородку, чтобы скорее согреться, возбужденно перекатываясь с боку на бок. Потом она быстро взбила подушки, легла на спину, не забыв красиво уложить косы на грудь. Хотела погасить

свечу, но раздумала: пусть Адам, чуть войдет, увидит ее улыбку, поймет, как она ждала его! Пусть горит свеча, ее хватит на всю ночь.

Свеча догорела почти до конца, прежде чем Юлия поняла, что Адам не придет.

* * *

Не придет...

Спит небось и не мается оттого, что один в постели, хотя уж нынче-то ночью они непременно должны были спать вдвоем! Сколько сладостных картин, сколько тайных мечтаний могли бы воплотиться в явь нынче ночью! От нескромных мыслей своих Юлия так разгорелась, что все тело ее нетерпеливо жаждало утоления любовью! А он не придет! Не сбудется ее великая любовь, не проживет года и десятилетия, не суждено им с Адамом жизнь провести друг подле друга и умереть в один день! Вспомнилась Юлии княгиня Елизавета Измайлова, ее прабабка, – и слезы разочарования и обиды на жизнь так и хлынули из глаз. Ведь Елизавета и муж ее, князь Алексей²¹, были как бы знаком вечной, неугасимой любви. Перенеся множество испытаний, они сохранили пылкую страсть друг к другу и, словно в награду от небес, невянущую красоту. Родственники и знакомые, зная их лета, с ужасом воображали горе того из них, кто переживет другого. Однако Елизавета, при легком, веселом нраве своем, одарена была тайным, духовным зрением и нередко предчувствовала и предвидела будущее. И вот нынешней весною, воротясь вечером после прогулки по цветущему яблоневому саду в своем любимом имении Любавине, Елизавета взяла мужа за руку и сказала, светло глядя ему в глаза: «Ну что, пришла пора уснуть, мой милый, навечно возлюбленный?» И они с князем Алексеем, рука об руку, удалились в опочивальню. Через два часа пошли звать их к ужину – и только тут домощадцам открылся смысл слова «навечно» и значение загадочной улыбки, его сопровождавшей! Князь и княгиня лежали на постели своей, где столько раз предавались упоительной страсти, одетые в лучшие свои одежды, но так тесно прижавшись друг к другу, словно именно пылкое объятие надорвало их сердца. Голова Елизаветы покоилась на плече Алексея, и в русых, не седеющих волосах ее белели яблоневые лепестки.

Вот о каком конце могли только мечтать все любящие, и сейчас Юлия едва сдержала слезы печали оттого, что у них с Адамом этого не будет.

Неужели коварные слова Зигмунда столь крепко его уязвили, что он забыл свой долг перед девушкой, которую сманил из дома родительского и завез бог весть куда? Ну разве Юлия поверила бы так безоглядно его словам, которым сияние звездообразных очей придавало особую неотразимость, когда б могла только помыслить, что он способен так легко отвернуться от нее?! Ведь это низко, неблагородно! Или... Или, напротив, благородно? Что, если Адам намерен отвезти ее поутру в Варшаву нетронутой, вручить отцу, точно пакет государственной важности, случайно потерянный: вот, мол, документ, никто его не вскрывал, все печати на нем целехоньки?!

Юлия вскочила с кровати и заметалась по комнате, не в силах более сдерживать ярость и кусая кружевную оторочку своего платка. До смерти хотелось сейчас разбить, порвать что-нибудь, грохнуть об пол, хотя бы сорвать со стены вот эту картину, которая всю ночь мозолила ей глаза и малейшие подробности которой она уже знала наизусть.

На ней представлен был восточный базар невольников. На помост вводили миловидную девушку с цепями на руках. По лицу ее катились слезы, а перед ней стояли двое турок, один из которых, с вожделием глядя на девушку, подавал деньги продавцу.

²¹ Герои романов Е. Арсеньевой «Тайное венчание», «Возлюбленная Казановы» и «Шальная графиня».

Юлия раздраженно топнула ногой. Ну чего она попусту льет слезки, эта изнеженная глупышка? Цепи на ее руках – ого-го, какое оружие! Если хорошенько размахнуться, ими можно сбить наземь и продавца, и покупателя, и двух мощных янычар-охранников; можно броситься вон по той тропке между мешков и тюков, попытаться убежать... Бог весть, удастся ли, но она хотя бы возьмет свою судьбу в свои руки!

Юлия замерла, будто наткнулась на стену. Верно, восточный антураж картины одел и ее мысли в цветистые восточные платья, ибо они звучали так: отчего она ждет здесь Адама, как покорная невольница – султана?! Может быть, он нейдет лишь потому, что боится ее обиды, неласкового приема, теряется в догадках, почему она убежала из гостиной?! Он ведь не знает, что Юлия подслушала их разговор с Зигмундом – вернее, речь Зигмунда! И мучается сейчас так же, как и она. Не спит, ждет, томимый желанием... Не зря же карта судьбы гласила: «Ваш милый думает о вас!»

Тепло, легко стало на сердце, нежная улыбка взошла на уста. Как говорят на том же Востоке: если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе!

В этот миг, затрещав, погасла свеча, как бы для того, чтобы Юлии не было стыдно своего отчаянного решения. И, ощупью отыскав дверь, она вышла из своей спальни – для того, чтобы через мгновение войти в другую – напротив.

4. Обещанное беспутство

Там тоже не горел ночник, и, пока глаза привыкали к темноте, Юлии пришлось постоять у двери, вдыхая запах табака, и пыли, и кельнской воды, и хорошей перчаточной кожи, и еще чего-то особенного. Словом, запах мужчины. Чужого мужчины, его разгоряченного сном тела...

Она по-прежнему ничего не видела: на окнах даже занавески были задернуты, наверное, чтобы не впустить тревожный лунный свет. Какая там луна! Все небо затянуто тучами, ветер ярится, и дождь стучит в окно. А здесь так тепло, так тихо. Так томно!

В углу послышался какой-то шорох, бормотанье; Юлия шарахнулась было, но тут же поняла, что это спящий повернулся на другой бок. Стало быть, кровать там. Да, ее очертания выступили из тьмы, и Юлия торопливыми, невесомыми шажками добралась до нее, постояла мгновение, глубоко вздохнув, и хоть она осторожно, чуть дыша присела, а потом прилегла с самого краешка, у нее было такое ощущение, будто бросилась она в эту роковую постель как в омут.

Юлия ожидала, что Адам вскинется с испугу – и либо набросится на нее, либо отпрянет, однако он только повернулся на спину – и снова затих, чуть склонив голову, так что его глаза, которые она чаяла и боялась увидеть, были скрыты глубокой тьмой. Сбившееся дыхание его выровнялось, и Юлия поняла, что он крепко спит.

Однако! Что-то непохоже на любовные терзания! Да полно – ждал ли он ее? Жаждал ли? Вот смешно будет, если Юлия сейчас уйдет так же бесшумно, как пришла, а он будет спать без просыпу, даже не узнав, что возлюбленная лежала с ним в одной кровати! Нет, глупости. Юлия вспомнила, с каким выражением гадалка тыкала тоненьким пальчиком в карты: «*Беспутство! Беспутство!*» – и едва подавила нервический смешок. Нельзя обмануть ожиданий карт. Бланка уже сделала первый шаг – сделает и второй. Не уйдет отсюда, не добившись своего, не закрепив за собою все права на Адама!

Мелькнула трусливая мыслишка, что для этого, быть может, достаточно, чтобы Адам утром обнаружил ее лежащей рядом, но Юлия, хоть и мало знала о любодействе, все же понимала, что это – воистину действие, кое трудно забыть, разве что человек в пьяную пьян. Она потянула носом – дыхание Адама свежо и чисто: он не пьян. Опять же поутру на этих пахнущих свежестью полотняных простынях должны остаться некие следы – иначе Адам нипочем не поверит, что Юлия принадлежала ему ночью!

Отрезвляющая мысль о том, чего она с такой готовностью вознамерилась лишиться, едва не вынесла Юлию прочь из этой комнаты, подобно порыву студеного ноябрьского ветра, уносящего жалкий, обезумевший листок от его ветки, но она уже слишком далеко зашла, чтобы отступать, а потому, мысленно перекрестившись, осторожно положила руку на грудь спящему мужчине. И тут же будто молния ее прошила! Грудь была обнажена. Адам спал без одежды!

Среди сонма беспорядочно-испуганных мыслей была одна настолько неожиданная, что Юлия поразилась своей деловитой фривольности: как ей лучше поступить – раздеться ли самой или предоставить это нетерпеливым мужским рукам? Впрочем, Юлия тотчас об этом забыла, захваченная исследованием неведомого.

Оказывается, на груди кожа у мужчин гладкая и нежная. Конечно, не настолько, как женская: для сравнения Юлия другой рукой потрогала свою грудь. Нет, мужская кожа была упругая и горячая, она вдобавок взбугрена мышцами и слегка, самую малость, тронута мягкими волосками. Врали, значит, девчонки, говоря, что мужчины под одеждой все с ног до головы волосатые, будто индийские обезьяны? Или это один Адам такой – с гладкой, словно теплый мрамор, грудью?

Как интересно! У мужчин тоже есть соски! Правда, они не столь круглы и велики, как женские. Юлия потербила себя за сосок, удивилась, что он вмиг напрягся, вызвав томительный отзвук в чреслах, погладила посильнее грудь Адама – конечно, напрягся и его сосок, но все же он больше напоминает некий упругий пупырышек. Юлия с любопытством потерла его между пальцами, даже ноготком поскребла. Забавно как! Почему-то вокруг него вдруг сделалась как бы гусиная кожа. Или Адам озяб, потому что она спустила одеяло до талии? Ладонь Юлии проследовала ниже. Нет, твердый, мускулистый живот теплый и гладкий. Адаму не холодно. Ну, пошли дальше. Она сунула руку под одеяло, обвела мужские бедра пальцем, чуть царапая; провалилась во впадинку пупка. Ну точь-в-точь как у нее! И, что самое удивительное, низ живота тоже покрыт шелковистой кудрявой порослью! В точности как у нее! А почему?

Тут Юлия заметила нечто странное. Одеяло, только что плотно льнувшее к ее руке, начало постепенно приподниматься. При этом спящий по-прежнему лежал недвижимо, не шевельнув ни рукой, ни ногой. Почему же поднимается одеяло?

Юлия скользнула пальцами ниже – и невольно ахнула, наткнувшись на нечто, восставшее из этих шелковистых волос. Что там пуховое одеяло! Эта теплая, но каменно-твердая плоть, чудилось, могла удержать на себе и подушку, и перину – и не согнуться.

Вдруг вспомнился подслушанный разговор двух горничных, из которого Юлия еще лет пять назад немало почерпнула для своего эротического образования: «Да он своим – хм, хм! – забор сшибет!»

Так вот что это такое... Юлия отыскала ту самую заветную часть мужского тела, которая, очевидно, не имеет иных названий, кроме «хм, хм» и других нечленораздельных эвфемизмов, многозначительных умолчаний, усмешек, подмигиваний, но в которой и заключается главное, неодолимое отличие мужчины от женщины.

Юлия знала, что ореол унылой целомудренности никогда, даже в молодости, не окружал женщин ее рода, а потому она не отдернула испуганно руку, а продолжала свое исследование.

Вдруг сильная дрожь сотрясла мужское тело, послышался не то вздох, не то крик, а затем Юлия была стиснута в таком крепком объятии, что дыхание ее пресеклось, и где-то далеко на обочине сознания мелькнула догадка: да он же давно не спит! Он просто затаился, ждал, когда она вовсе утратит осторожность, – а теперь пришла пора расплаты за свое безрассудство. Ох, что же теперь будет?

Ответ на свой смятенный вопрос она узнала тотчас. Все произошло мгновенно. Мужской рот впился в губы Юлии, мужские руки стиснули ее грудь, а сильные колени растолкали ее ноги так широко, что она ощутила запах своего естества. И что-то твердое, огненно-горячее прильнуло к нему. Юлия испуганно забилась, пытаясь вывернуться, хотела крикнуть – и язык ее в невольной ласке прильнул к мужскому языку, глубоко проникшему в ее рот. Рухнула последняя преграда сдержанности. Раздался глухой стон, а потом мужское тело расплющило Юлию, вонзилось в нее – и она, по некоему милостивому капризу судьбы, лишилась чувств еще прежде, чем испытала боль.

* * *

...Сначала ей показалось, будто лежит она в глубокой прохладной воде, но медленное, мерное колыханье волн выносит ее на поверхность, подставляя солнечным лучам. Они так теплы, так нежны, они касаются ее тела, пробуждая в нем жизнь, они прижимаются к губам в поцелуе, они шепчут страстно:

– О милая... милая моя! Ты пришла! Ты со мной!

Юлия тихонько вздохнула, пробуждаясь от забытья, – и вздрогнула, осознав, где она и что с ней.

Легкое жжение внутри ее лона напоминало о том, чего она лишилась, да и простыни под нею были влажны.

Значит, это произошло... Она теперь женщина! Адам сделал ее своею женщиной!

Слезы любви, немые жалобы, выступили на ее ресницах, но это была всего лишь дань девичеству, с которым она так бурно рассталась. Юлия была воистину счастлива сейчас. Наконец-то она стала взрослой! Наконец-то она сравнялась с хвастушей Наташенькой Шумиловой, которой овладел на прошлую Масленицу, на маскараде, кто-то в костюме Цезаря – даже не сняв маску, а потом постыдно бежал из зимнего сада, где улестил пылкую барышню. Наташенька была особа смешливая и легкого нрава: с тех пор она не пропускала ни одного маскарада, надеясь отыскать своего соблазнителя, но «Юлий Цезарь» не появлялся, как если бы, струхнув, прямиком канул в свой Древний Рим, ну а Наташино приключение с течением времени обрастало в ее многочисленных пересказах такими заманчивыми подробностями, что те же девицы, которые сначала, с некоторой долей презрения, жалели Шумилову, начали откровенно завидовать ей и ощущать себя почти старыми девами оттого, что их еще «не познал мужчина», а главная беда – что никто из них не решится изведать сего плода до свадьбы. Да уж! Да... всех этих невинных розовых дев, для которых верхом эпатажа было пройтись с кавалером, неугодным маменьке и папеньке, в знойной мазурке, при блеске свечей, под гул отрывистых смычков, – всех их Юлия вполне превзошла. И если мимолетный любовник Шумиловой сбежал от нее, едва добившись своего, то Адам теперь всегда, всегда будет с Юлией, и, судя по его настойчивым ласкам, он вновь зовет ее предаться любви.

Юлия преисполнилась гордости, слушая этот пылкий шепот, этот голос, искаженный страстью. Теперь поцелуи ничем не напоминали их с Адамом невинные, робкие лобзанья где-нибудь за тенистым кустом бузины или в укромном закоулке Барканара²². Его сильные пальцы играли с ее телом, извлекая из его потаенных глубин неведомую прежде мелодию пробудившейся страсти. С изумлением Юлия узнавала, что есть места, прикосновения к которым она просто не может перенести: это исторгало стоны, заставляло выгибаться дугой, не скрывая своей жажды слиться с Адамом вновь – изведать то, что пока оставалось для нее неизвестным: любовное наслаждение. А он все медлил, терзал ее новыми поцелуями, трогал ее везде своими бесстыдными пальцами, и Юлия с восхищением отдавалась самым смелым ласкам, забыв об отзвуках прежней боли. В полусознании услышала протяжный стон и не сразу смогла понять, что это она стонет страстно – и в то же время жалобно, умоляюще. В этой мольбе всего своего естества впивалась она губами в мужские губы, стискивала его восхитительно крепкие плечи, еще более возбуждаясь от ощущения этой силы, отныне принадлежащей ей. Блуждая нетерпеливыми руками по его телу, восторгаясь, когда оно отзывалось дрожью на эти прикосновения, она наткнулась на своего старого знакомого, умельца поднимать одеяло и, надо полагать, сшивать заборы, – и с властной нежностью повлекла его к себе.

Медленно и терпеливо, наслаждаясь сам, он разжигал костер и в ее теле.

– Ах... – вдруг выдохнула Юлия. – А-ах...

Не в силах долее сносить покорность, она задвигалась, сперва тихонько, вкрадчиво, а потом неудержимо, порывисто, страстно вступила в этот любовный танец, предназначенный лишь для двоих.

Она вновь была в полубомороке – на сей раз от счастья. И так устала, так была истомлена, что едва могла отвечать на поцелуи, которыми награждал ее Адам.

Впрочем, в этих поцелуях уже не было пыла – ее любовник сгорел дотла в костре, который сам же и разжег. Только нежность, только благодарность. Дыхание его выравнивалось, и Юлия

²² Средневековая крепость – старинный район Варшавы.

с незнакомым прежде умилением уловила с трудом сдерживаемый зевок. Да и сама она почти спала. Какое счастье уснуть – и пробудиться в его объятиях!

Он повернулся на бок, оплетая Юлию руками и ногами, все еще удерживая в ней свою утомленную плоть, тихонько рассмеялся, словно замурлыкал, и мгновенно уснул, выдохнув, уже почти бессознательно:

– Милая... радость моя, Аннуся!

* * *

Убитый наповал взрывом страсти, он не чувствовал, как, оглушенная его обмолвкой, онемевшая от внезапного подозрения, Юлия высвободилась из его объятий. Не слышал, как она, деревянно двигаясь, даже не стараясь делать все бесшумно, добралась до стола, нащупала свечу, чиркнула спичкой. Только веки спящего слабо дрогнули, когда яркий свет озарил его лицо – и Юлия разглядела наконец, с кем провела первую в своей жизни ночь любви.

Это был не Адам.

Это был Зигмунд Сокольский.

5. Ноябрьская ночь

Первое осознанное ощущение пришло к Юлии через несколько часов беспрестанной гонки, когда конь начал засекается и она дважды едва не свалилась с седла.

Сбоку при дороге маячило какое-то строение. Кажется, постоялый двор. Да, вчера они с Адамом пили здесь чай.

Юлия даже зубами скрипнула при этом воспоминании, стукнула было коня каблуком, ничего так не желая, как снова отдаться бешеной скачке, но конь пошел неуверенно, спотыкаясь с первых шагов, и она почти с ненавистью натянула повод, поворачивая к трактиру, понимая, что лучше дать этой кляче час-другой передохнуть и только потом продолжать путь, чем загнать ее, а потом бог весть сколько сидеть, дожидаясь почтовых лошадей, убивая себя неподвижностью – и воспоминаниями.

Хозяин, конечно, сразу узнал красивую панну, которая останавливалась здесь вчера со своим спутником, милотвидным, как ангел, и сунулся к ней с приветствиями, однако выражение ее лица не больно-то располагало ни к любезностям, ни к расспросам, а потому он только подал ей чаю да варенья и отошел к стойке, исподтишка наблюдая за нею и недоумеая, какая такая причина превратила очаровательную хохотушку в это угрюмое, замкнутое создание с невидящим взором, – и куда подевался ее спутник?! Неужели это он так огорчил, так опечалил прекрасную панну? Ох, окрутни, окрутни человек! ²³ Как только таких земля носит?!

Адам, надо полагать, уже добрался до Варшавы и успел принять участие в том «деле», кое было столь важно для Сокольского. Даже плаща своего не пожалел! Юлия дернула уголком рта, что должно было означать усмешку. Из-за плаща-то и вышла путаница! Да из-за соседства пана Валевского, коего Адаму пришлось сопровождать... Однако лукав, ох, лукав же пан Зигмунд! Ишь как костерил Адама: дезертировал, мол, сбежал с девицею, – а сам бросил своего драгоценного Валевского на попечение столь ненадежного человека, чтобы нынче же ночью, без помех, предаться разврату... да не с той, не с той, которую ожидал.

Стало быть, им обоим не повезло, оба обманулись в своих надеждах! Как говорится, *l'homme propose...* ²⁴

Теперь, наверное, дело уже разъяснилось. Скажем, поутру Сокольский отправился благодарить Аннусю за доставленное блаженство – а что блаженство было, даже Юлия, в своей жгучей ненависти на весь мир, не могла отрицать! – ну пришел, стало быть, а она захлопала своими глупенькими глазками и залепетала что-то столь несообразное, что в душу Зигмунда закрались подозрения, он принялся выпытывать дотошнее – и вся истина открылась ему...

Юлия схватилась за сердце. Ох, а она-то думала, что позор, будто клеймо, жжет лишь первое мгновение! Чудилось, уже не может быть ей больнее, чем в те минуты, когда она опроремью бежала в свою спальню и торопливо одевалась, не глядя швыряла вещи в баул, даже не замечая, что слезы капают на толстую белую кошку, спокойно спавшую в ногах на ее неоправленной постели. По счастью, работник, ночевавший на конюшне, был приучен не задавать вопросов господам: страшно зевая и привычно бормоча: «Швилечке!» ²⁵, оседлал ее коня, навьючил баул, помог сесть в седло и отворил ворота, а сам повалился в сено досыпать, даже не задумавшись, зачем канула в непогодную ночь ясновельможная пани.

Она причесалась, умылась у придорожного ставка ²⁶, не желая пугать людей своим всклокоченным безумным видом, не желая, чтобы хоть кто-то мог догадаться, какая змея сосет ее

²³ Жестокий, жестокий человек! (*польск.*)

²⁴ Начало поговорки «Человек предполагает, а Бог располагает» (*фр.*).

²⁵ Одну минуту (*польск.*).

²⁶ Пруд, озерко (*укр., польск.*).

сердце! Но, верно, хозяин сего постоянного двора все же заметил ее отчаяние: вон какие сочувственные взгляды бросает из-за стойки!

Юлия на миг закрыла лицо рукою, будто поправляла съехавшую шляпку, пытаясь за это время придать ему самое безмятежное выражение.

А впрочем, что ей до этого человека? Может, лишь ее уязвленное самолюбие заставляет видеть и сочувствие, и пристальное внимание, и любопытство там, где о сем нет и помину? И вдруг смутная мысль посетила ее, мимолетная надежда осенила крылом своим! А что, ежели Зигмунд, подобно тому кавалеру Наташеньки Шумиловой, вовсе не расположен был расшаркиваться и благодарить за подаренную ему девственность? Может быть, для него такие приключения – дело настолько обыкновенное, что он и слова Аннусе не сказал? Оставил несколько денег услужливому пану Тадеку, дочке его – какую-нибудь безделушку, да и был таков – не выяснив отношений и не обнаружив страшного недоразумения, сломавшего Юлии жизнь?

Она с трудом подавила всхлипывания и невероятным усилием воли заставила себя вернуться под трепетное крыло надежды.

Коли так... Коли так, о случившемся не знает никто, кроме нее. И ежели Господь и Пресвятая Богородица будут милосердны к ней, великой грешнице, ежели увидят, как она горюет и раскаивается, то событие сие останется тайною для всех. И, быть может, удастся дома умиловать разгневанного отца, сославшись на пустую причину: поездку в гости, внезапную прогулку, дурь, ударившую в голову, понести наказание, пусть даже и порку, как это было в прошлом году, когда она загнала лучшую отцову тройку, выиграв пари с тем самым злосчастным курьером Пивовововым. Сейчас она была на все согласна, лишь бы удалось сбересть тайну. Она отменно умела забывать то, чего не хотела помнить, и как бы черный платок набросила на воспоминания о сплетенных телах, ладно танцующих под вечную мелодию – мелодию страсти, о губах, мучительно-сладостно терзавших друг друга... Нет! Нет! Не думать об этом! Она старательно лелеяла уверенность, что Зигмунд никому ничего не скажет, никто ни о чем не догадается, что их с Сокольским судьбы, скрестившись на мгновение и вызвав смерч, подобно двум взвихренным потокам ветра, разлетелись в разные стороны и никогда не сойдутся впредь. А коли так... Воротясь в Варшаву, она отыщет Адама, и... и, может быть, еще не все для них потеряно!

Даже тень надежды была столь отрадна, что Юлия с наслаждением отхлебнула чаю, и румянец взошел на ее щеки, и ярче заблестели глаза, и хозяин, добрый человек, не спускавший с нее глаз, мысленно возблагодарил за это внезапное преобразование Матерь Божию и украдкой смахнул умиленную слезу.

* * *

Да. Единственное спасение и утешение сейчас – дом, родители, уют, забота и любовь отца с матерью! Все, что совсем недавно было с охотою оставлено, брошено, теперь ласково, тепло обступило Юлию, и далее жить без этого показалось невыносимо. И она гнала, понукала, нахлестывала коня, однако чем ближе подъезжала к Варшаве, тем более тревога овладевала ее сердцем.

Наступил вечер, но сумерки рассеивали странные огни, вспыхнувшие при дороге. Юлии понадобилось время, чтобы сообразить: да это ведь горят те самые охапки соломы, привязанные к вершинам просмоленных шестов, на которые она обратила внимание, когда они с Адамом очертя голову неслись из Варшавы. Она любопытствовала – что это, но Адам то ли не захотел ответить, то ли сам не знал. Однако теперь шесты горели косматым, жадным огнем, словно подавали кому-то некий знак.

Юлия мчалась обочь дороги, рискуя переломать ноги коня, но опасалась выезжать на середину, по которой шли и шли в Варшаву отряд за отрядом. Настораживало, что она не

слышала ни единого слова по-русски, а когда впереди одного из шедших полков увидела трехцветное знамя, а на головах солдат – красные конфедератки ²⁷, страх подкатил к горлу. Вспомнилось, что несколько дней назад в городе появились листовки о том, что Бельведерский дворец в Лазенках, резиденция цесаревича, с первого декабря сдается внаем. Городовые срывали эти листки, наклеенные на стены, однако на лицах поляков, читавших их, появлялось выражение нетерпеливого ожидания. Юлия тогда спросила Адама, что означает сия оскорбительная шутка, но он пожал плечами и перевел разговор на другое. А сейчас Юлия вспомнила и листовки, и сердитые выпады отца против поляков, и уверения его, что от «этой пакостной нации» можно ждать всякого подвоха, всякого предательства...

Тут со стороны города послышалась перестрелка, а потом ухнул пушечный выстрел – и снова наступила напряженная тишина.

Теперь Юлия уже не сомневалась в том, что нынче ночью в Варшаве что-то произошло. Именно на это, конечно, намекал своими упреками Адаму Зигмунд, а она была слишком озабочена судьбою собственной любви, чтобы придавать значение иному. Но теперь страх снедал душу, и зрелище темных, пустых улиц заставило ее задрожать мелкой дрожью. Топот конских копыт казался опасно громким в затаившейся тишине. Казалось, этот дробный перестук способен взорвать ее – и тогда эта тишина сменится чем-то настолько ужасным, непредставимо ужасным!.. Юлия и сама не знала, чего боится, но сочла за лучшее спешиться и пойти пешком, ведя, вернее, таща за собою вконец замученного коня.

На углу Краковского предместья, когда до дому было совсем недалеко, конь стал, отказываясь идти. У Юлии не было ни сил, ни охоты сдвинуть его с места, а потому она закинула поводья ему на шею, предоставив самому плестись в знакомую конюшню, и, подобрав юбки, бегом бросилась в сторону дома.

Город был темен, витрины не освещены, уличные фонари кое-где осторожно, воровато мерцали, но большинство из них было не зажжено вовсе. Однако здесь кончилось безлюдье, и Юлия похвалила себя за то, что идет пешком: она могла неслышно перебежать от подворотни к подворотне, оставаясь незамеченной.

Теперь непрерывно слышались на улицах глухой шум или ружейная стрельба; то вдруг наступала тишина, то раздавались пронзительные выкрики: «К оружию, поляки, к оружию!»; слышался топот коней быстро скачущих всадников и экипажей.

Какой-то страшный, мерцающий красный свет далеко рассеивал тьму, и Юлия с ужасом увидела, что кое-где бушуют пожары, освещая ночь. Она не поверила глазам, увидев полыхающее здание русского комиссариата на Новом Святе. Некие тени сновали мимо огня. Юлия обрадовалась было, приняв их за пожарных, но это была толпа, забавлявшаяся страшным зрелищем.

Неторопливо проплыла мимо закрытая карета. Зеваки оглянулись, начали набожно креститься: ведь это была карета «бискупа» – католического епископа. Словно в театре теней, на красном фоне пожара увидела Юлия в окне кареты четкий силуэт тощего старичка, старательно, направо и налево, осенявшего крестным знаменем и чернь, склонившуюся перед ним, и горящее здание, и всю эту темную, страшную ноябрьскую ночь – что бы в ней ни происходило.

Стиснув зубы, Юлия пустилась бежать, намереваясь больше не останавливаться. Дом ее был уже рядом – совсем рядом, и никакая буря не сможет поколебать его высокие каменные стены!

Вот и он, вот и он.

²⁷ Четырехугольные польские военные фуражки.

Она припала к воротам, занесла кулаки, чтобы неистовым стуком разбудить привратника, чтобы скорее укрыться за этим высоким забором. Но сердце ее упало, когда тяжелые, обычно запертые створки вдруг подались – и сами собой покорно разошлись в стороны...

* * *

Юлия бежала по садовым дорожкам, как по лесным тропкам. Они всегда были чисто выметены, а сейчас на них намело опавших листьев, легкий снежок похрустывал под ногою – она и не заметила, когда он начал сеяться, первый снег этого года. Легкие белые клубы реяли у ее губ, и Юлии казалось, что это не дыхание – это душа ее вырывается из тела, бегущего слишком медленно, и спешит раньше его достичь темного, неосвященного дома, чтобы узнать, увидеть – что там?!

Дверь была не заперта, как и ворота. И гулкая тьма, и выстуженный воздух, и ветер, перебирающий на полу какие-то разбросанные бумаги, – все враз сказало Юлии, что дом ее пуст.

– Матушка? Мон rére, батюшка? – робко позвала она, но не услышала ответа.

Не видно было ни зги, но в этом доме она знала каждый уголок, каждую ступеньку, а потому быстро, будто белым днем, ринулась через просторный вестибюль к лестнице, на второй этаж, везде натываясь на поломанную мебель, разбросанные книги, какие-то осколки, словно по дому пронесся ураган. Вдруг мелькнуло в голове воспоминание, как свою встречу с Зигмундом она сравнила со смерчем, на миг охватившим мир. Не сей ли смерч сотряс основы бытия, опустошил ее дом?! Но тут же вспомнилось разграбленное, горящее здание русского комиссариата, толпы на темных, настороженных улицах... Нет, все это было делом человеческих рук – враждебных человеческих рук. Дом разорен, а где же его обитатели?! Она ринулась дальше, зовя шепотом: «Матушка! Мон rére!» – зовя и не слыша отклика.

Надеясь на чудо, все еще не веря этой гулкой, нежилой пустоте, Юлия бежала по коридору, распахивая дверь за дверью. Вот бильярдная – здесь отец, считавшийся первым игроком, чисто, отчетливо отправлял шары в лузы; ловко и красиво, словно шпагой, орудовал кием, делая партию с трех или четырех ударов подряд. Вот бывшая детская, потом классная... Однажды Юленька (было ей тогда лет шесть, не больше) спросила у матушки, на чем стоит Земля.

– Земля ни на чем не стоит, – отвечала Ангелина, большая охотница до чтения всевозможных научных журналов. – Она круглая, как яблоко, и непрерывно летит и вертится в воздушном пространстве, от этого у нас бывают то день, то ночь, то лето, то зима... – И, взявши яблоко, повертывая его перед свечой, старалась объяснить движение Земли вокруг самой себя и вокруг Солнца.

– Как же мы не сваливаемся с Земли, когда повертываемся вниз головой? – спросила Юленька встревоженным голосом.

Сколько ни силилась Ангелина объяснить, отчего люди не сваливаются, девочка ничего не понимала и все более и более приходила в волнение. В воображении ее рисовалось мрачное, бесконечное пространство; среди него, как светлая точка, Солнце; перед этой светлой точкой наш земной шар вместе с Юленькиным домом с одуряющей быстротой вертится и несется без остановки, а дом, того и гляди, полетит с него в бездонную пропасть.

Эта картина так поразила Юленьку, что она ударилась в слезы. Матушка, глядя на нее, смеялась и плакала вместе.

Тут пришел князь Никита. Обнял жену с дочкой, обеих усадил к себе на колени и, держа в крепком кольце своих рук, сказал, что людей крепче всех непонятных сил приковывает к Земле сила любви, и тот, кто любит и кого любят, может ничего не бояться: его не сорвет с Земли вселенским вихрем, не унесет в черные бездны!

Юлия словно увидела отца: его открытое, благородное лицо, дерзкий, насмешливый взгляд, его блестящий мундир, высокий султан на шляпе, звезды на груди, множество крестов на шее – в детстве Юлия помнила, он иногда снимал кресты и давал дочке их подержать, поглядеть с восхищением на драгоценные камни, на тончайшие эмалевые лики святых... Она снова увидела фиалковые глаза матери, ее смеющиеся губы, ее золотые, сказочно прекрасные волосы...

На душу словно бы камень налег. Где отец с матерью?! Что произошло?! Живы ли?!

Отдаленные голоса послышались внизу, замелькали факелы, и Юлия бездумно ринулась туда, как мотылек на свет, однако, добежав до лестницы, замерла испуганно, услышав:

– Да мы уже были в этом доме! Славно поживились!

Грабители! Это вернулись грабители.

– Погоди, – сказал другой. – Я видел – сюда прошмыгнула какая-то женщина. Может, кто из хозяев воротился?

Первой мыслью Юлии было огромное облегчение: слова «может, кто из хозяев воротился» означают, что им, этим хозяевам, удалось уйти, скрыться! Слава богу!

Эта радостная надежда обессилила Юлию, заставила забыть об осторожности – и громы увидели ее:

– Вот она! Гляди!

Огромными скачками они понеслись по лестнице, прыгая через две, три ступеньки, но Юлия не стала ждать.

Добежать до своей спальни, заложить дверь обломком стула было делом мгновенным.

Теперь к окну. Ох, оно уже заклеено на зиму, подбито, закрыто накрепко! Сама виновата – вечно мерзнет, вот у нее в комнатке первыми и заделывают окна!

Нет, не открыть! Надо бы постучать по задвижкам, да нельзя, шумно! Грабители рыщут из комнаты в комнату, переворачивают мебель, ищут ее, на звук сразу сбегутся. Ох, что делать, что делать? Может быть, отсидеться в шкафу? А если найдут? Они убьют ее здесь же, в этой комнате, но сначала...

Юлия бросила взгляд на свою разоренную кровать: тюфяки сбиты, перинка валяется на полу, простыней вовсе не было. Да, прямо вот здесь они распнут ее – оба вместе или поочередно. Теперь Юлия уже знала, что делает мужчина с женщиной, и воображение тотчас нарисовало страшную картину: она, голая, распялена на кровати, и эти двое, не раздеваясь, только спустив штаны, возятся на ее бьющемся теле, отталкивая друг друга; потом ее бьют, чтобы не дралась, придавливают голову подушками; грязная, грубая плоть стремительно врывается в нее, а содрогания придушенной жертвы становятся все слабее и слабее, так что второму насильнику достается уже мертвое тело...

«Чего ж ты стала?» – тут же крикнула Юлия сама себе и легко, будто перышко, схватила тяжеленную, хоть и маленькую дубовую скамейку, стоявшую у печки. У нее в запасе были секунды: голоса слышались уже возле двери.

«Ну, Господи, благослови!»

Подбежав к окну, Юлия швырнула скамейкою в стекло, метя по широким переплетам.

Звон разбитого стекла смешался с торжествующим криком: «Она здесь!» – и дверь затрещала под ударами.

Юлия сорвала салоп, вытолкнула в образовавшуюся щель, из которой хлынул стылый, пахнущий снегом воздух. Инстинкт подсказывал: от бандитов, может быть, спасется, но без салопы уж точно замерзнет, простудится до смерти в такую ночь, как эта! Потом упала плашмя на подоконник, стараясь не думать, что будет, если остатки стекла из верхних переплетов рухнут на нее.

Бог миловал! Она выскользнула из окна без помех и повисла на толстых лианах плюща, плотно оплетшего стену. Листья с них уже осыпались, плети загрубели, и Юлия изорвала в кровь ладони, пока спустилась со второго этажа. Уже почти над землей она чуть не сорвалась, запутавшись в подоле амазонки, который отцепился от пояса, но все обошлось: спрыгнула, упала на четвереньки, как кошка, выпрямилась. И, не забыв подхватить брошенный салоп, ринулась напрямик через парк к ограде, к заветной калиточке – последнему пути отступления.

– Держи, держи! – заорали сверху распаленные, разочарованные голоса. – Уйдет!

Да где там! Уже ушла!

Вырвавшись из парка, Юлия вихрем понеслась через Краковское предместье на Медову улицу. Путь ее лежал на Подвале, ибо это было единственное место, где она могла сейчас найти убежище. Еще не зная толком, что произошло, она почти не сомневалась: такая же участь, как дом Аргамаковых, постигла дома и других русских сановников, а потому сейчас лучше не бежать к Шумиловым, Нессельроде, Ковалевским или другим знакомым. Ближе и легче добежать до Подвале, где жила ее старая нянька.

И вот наконец-то он, маленький двухэтажный домик в глубине двора! Юлия прильнула к воротам, заколотила в них, ловя ухом эхо тяжелых шагов: к ней кто-то приближался в темноте. Ворота были заложены. Юлия отпрянула в тень, молясь, чтобы путник, кто бы он ни был, прошел мимо, не заметив ее, но Бог сегодня был не на ее стороне: шаги остановились рядом, и настороженный высокий голос спросил:

– Кто то ест?

Юлия молчала, сдерживая дыхание. Голос показался ей знакомым, но она боялась отвечать, жалась к забору, зная, что человек не видит ее – так же, как она не видит его в этой крошечной тьме. И тут, словно по заказу, луна выглянула из-за туч, осветив и дрожащую фигуру Юлии, прижимавшуюся к забору, и салоп, который ей пока некогда было надеть, и ее бледное, смертельно испуганное лицо. И человека, стоявшего перед ней: малорослого, с лобастой головой, на тоненьких кривых ножках, но длиннорукого, с широкими плечами, придавленными тяжестью огромного горба.

При виде этого чудовища Юлия выронила злополучный салоп, прижала руки к груди и, с трудом переведя дух, сказала сердито:

– Да ну тебя, Яцек! Как же ты меня напугал! Скажи, бога ради, что тут происходит? Что за безумие?

– Безумие? – медленно повторил горбун своим пронзительным голосом. – Нет! Никакого безумия нет! Это восстание!

* * *

Варшава, этот огромный человеческий котел, давно бурлила. Демонстративно выражаемое сочувствие казненным и сосланным мятежникам-декабристам; вызывающий лозунг: «За вашу и нашу свободу!», родившийся тогда и могущий обмануть разве того, кто хотел быть обманутым, как будто поляков интересовала свобода русских, украинцев, белорусов, коих ляхи извека именовали быдлом! Попытка смуты накануне приезда императора Николая I на венчание его короною Польши в марте 1829 года; попытка смуты в октябре 30-го; многочисленные предупреждения верных людей, в их числе князя Аргамакова, что затевается мятеж, а гнездилище его – школа подпрапорщиков в Лазенках, под боком Бельведера, – все это должно было бы давно насторожить великого князя Константина Павловича. Однако он по врожденному легкомыслию своему, кое считал бесстрашием, презирал эти предупреждения, не желал понимать, какого масла в огонь подлила Июльская революция во Франции, – и оставался по-прежнему в своем Бельведере почти без караула: небольшое число небооруженных инвалидов

отправляли там свою службу. Он жил беспечно, никем не оберегаемый, посреди большого, беспокойного города, не зная и не желая знать, что на 17 ноября назначен день его смерти.

Настал вечер. В половине седьмого вспыхнула пивоварня на Сольце – был дан сигнал к мятежу, сигнал грядущей гибели многих тысяч людей. Две хорошо вооруженные группы студентов и подпрапорщиков разом штурмовали арсенал и Бельведер, находившиеся недалеко друг от друга.

Великий князь отдыхал после обеда. Вице-президент города Любовицкий, навлекший на себя ненависть мятежников преданностью русским властям, ожидал в передней пробуждения Константина Павловича для вечернего рапорта. Здесь же находился камердинер Фризе. Суматоха в такое время, когда всякий живущий в доме остерегался малейшего шума, привлекла их внимание; они вскочили и подбежали к дверям, ведущим на лестницу.

Какое зрелище представилось им! Сверкающие штыки и шумная толпа, ломившаяся по лестнице! С быстротою молнии они угадали, в чем было дело, и поспешили уведомить великого князя. Но злодеи были уже на их пятах. Константин Павлович, разбуженный шумом, вышел из опочивального покоя и очутился лицом к лицу со своими убийцами. Любовицкий имел только время закричать: «Худо, государь!» – как удар штыком поразил его сзади. Он упал без чувств, но ему все же нанесли еще двенадцать глубоких ран, пронзив правую руку, которой он прикрывал сердце.

Фризе, видя опасность, в которой оказался повелитель, захлопнул дверь, запер ее изнутри на задвижку, а затем повел великого князя в маленькую комнатку под крышей правого флигеля, где с его помощью князь наскоро оделся. В этой комнатке обычно утром приготавливался его завтрак и чистилось платье.

Убийцы, удержанные запертой дверью, которую они тщетно старались разломать, излили ярость на двух оставшихся в комнатке лакеев, смертельно изранив их, не зная, что более предпринять: добыча ушла! Тут послышался троекратный возглас со двора: «Сходите вниз, он мертв!» И заговорщики удалились столь же поспешно, как пришли.

Поводом к этому недоразумению было следующее: генерал Жандр, обнаруживший заговорщиков в покоях великого князя и увидев убитого, поспешил во двор, дабы призвать помощь. Оставшиеся у ворот заговорщики бросились на него и нанесли ему несколько ран штыками. Несчастный прошел, шатаясь, еще несколько шагов и упал на кучу песка, где и испустил дух. Так как он по наружному виду и манерам имел сходство с Константином Павловичем, то убийцы приняли его за великого князя, вследствие чего отозвали своих товарищей и поспешно убежали, потому что со всех сторон – из флигеля, конюшен и ближних строений – собиралась прислуга. Вслед за тем прискакал с несколькими всадниками дежурный ординарец. Три кавалерийских полка спешили со всех сторон...

Нет сомнений, что при решительности цесаревича все восстание было бы легко подавлено. Однако, считая случившееся просто вспышкой, великий князь приказал русским частям отойти от Варшавы на восток, запретив и другим частям вмешиваться в события: «Русским нечего делать в польской драке!» Из трусости, недальновидности, глупой ли заносчивости усмирять польский мятеж Константин предоставил польским же войскам, надеясь на их верность присяге. Нашел кому верить! Впрочем, не стоит обвинять всех огульно. В эту роковую ночь вместе с русскими офицерами, которых убивали без разбору, без пощады, полегло много поляков, не уронивших чести своей и не отступивших от присяги. Генерала Требицкого мятежники убеждали возглавить их, но он сказал: «Я сумею сохранить верность, в которой я присягнул моему государю», – и был повергнут на землю несколькими выстрелами. Еще дышащего, протащили его за ноги по земле, всячески измываясь над раненым, и наконец добились у колодца за Белянской улицей. Подобная участь ждала и генерала Станислава Потоцкого, до последней минуты продолжавшего увещевать мятежников. Ему предложили встать во главе восставших – или умереть. Потоцкий не захотел запятнать свои седины клятвopеступлением, отказался

с презрением – и был застрелен. Так погибали один за другим старые достойные воины, четверть века стоявшие во главе войск; погибали потому, что не хотели признавать во всех этих высокоцких, набеляках, трижановских²⁸, в горстке студентов, писцов, недоучек-подпрапорщиков и журналистов, в толпе пьяной черни представителей нации.

Итак, вследствие бездействия русских войск восстание усилилось и окрепло вполне. Арсенал был взят, мятежники вооружились.

Настала ночь – страшная ночь. Под видом патриотической мести осуществлялась тайная личная месть. Много крови обогрило мостовые Варшавы этой ночью!

Наутро обыватели осторожно выходили на улицу, ожидая, что теперь-то карающая десница великого князя обрушится на восставший город. Ничуть не бывало! И вседозволенность опьянила даже тех, кто поначалу не видел в случившемся ничего хорошего, кроме дурного. В этот день жилища русских офицеров были безнаказанно разграблены. Все русские или находившиеся в связи с русскими пытались уйти из города, опасаясь за свою жизнь. Шайки вооруженной черни, к вечеру напившейся до потери разума, буйствовали на улицах. Беда тому, кто попадался им в руки и не мог представить ясных доказательств своего патриотизма!

Вечером благонадежные люди норовили как можно крепче запереть свои жилища. Наступавшая ночь грозила быть еще страшнее предыдущей: ведь ясно было, что любое злодейство останется безвозмездным! Этой-то кровавой ноябрьской ночью и очутилась Юлия в Варшаве.

Конечно, было ей рассказано сие не сразу, не с порога, не в тех словах, с иными подробностями; многое она узнала гораздо позднее от других людей. Однако услышала достаточно, чтобы понять самое главное: прежняя жизнь рухнула, и у нее даже нет надежды собрать осколки! Она просто не знает, где их искать. Хорошо хотя бы, что в эти страшные, страшные дни было пристанище, было укрытие: дом старой Богуславы.

²⁸ Предводители и организаторы мятежа, покушения и наиболее жестоких расправ над русскими.

6. Горбун

Сколько себя помнила Юлия, старая Богуслава всегда была рядом – и всегда была старая. Она досталась князю Никите Аргамакову вместе с казенной квартирой, и денщиком, и конюшней, и денежным довольствием, когда в 15-м году, после разгрома наполеоновской Франции, он прибыл на службу в Польшу, еще ошеломленную этим поражением и новой конституцией, после которой она фактически перестала существовать как самостоятельное государство. Что ж, такова участь всех предателей.

Сказать, что князь Аргамаков в ту пору поляков ненавидел, будет мало. Он их просто за людей не считал, помня кровь товарищей своих, коварно пролитую этими «братьями-славянами», помня страшные рассказы Ангелины о своем преследователе Моршане, оказавшемся поляком по имени Миркозлит; он не мог забыть и рассказы своей матери, оставшейся во время пожара 12-го года в Москве, о том, как страшно грабили ее там поляки – до того, что серьги вырвали из ушей и даже готовы были изнасиловать уже немолодую женщину, когда б не вмешался случайно проходивший мимо француз (!) и не спас несчастную. Ну а в праве русских бить ляхов Никита Ильич не сомневался с тех пор, как отец его прошел по Польше вместе с Суворовым в 1771 году, побивая барских конфедератов так, что от польского гонору одни ключья летели, и целые армии панов панически бежали, преследуемые каким-нибудь десятком русских кавалеристов!

Конечно, времена поменялись, сабли были убраны в ножны. Повинуясь мирным законам, в Варшаве князь Никита все же старался держаться подальше от поляков, на службе окружая себя русскими офицерами, а дома – русской прислугой, и только от няньки Богуславы избавиться не смог, потому что Ангелина с Юленькой полюбили эту мягкосердечную, милую польку с одного взгляда и нипочем не желали с нею расставаться.

Однако Никита стойко держался в своей неприязни, несмотря на то, что преданность, которую нянька Богуслава выказывала своей подопечной, была удивительная, и это при том, что Юленька – вернее, Юлька! – уродилась на диво озорным и своевольным созданием, с первых же лет своей жизни бывшим во власти неодолимой страсти к смелым похождениям. Более всего, конечно, происходило это не от врожденной храбрости, а от непонимания опасности.

Однажды, позавидовав роскошным усам отца и услышав от него легкомысленное: надо, мол, каждый день бриться, чтоб выросли такие! – Юлька стащила у отца денщика опасную бритву, затеяла было бриться и не отхватила край губы, не перерезала горло только потому, что нянька Богуслава вовремя оказалась рядом и отняла у девчонки бритву, так изрезав себе при этом руки, что шрамы не исчезли и спустя несколько лет. Однако за это она не дождалась благодарности от князя, а лишь попрек: мол, за дитятею пригляд нужен, тогда и без крови обойдется. Спасибо, хоть зуботычину не схлопотала, подобно раззяве-денщику!

Одними руганиями кончилось для Богуславы и спасение Юльки, вздумавшей в одиночку покататься на лодке. Дело было летом, в дачном имении. Богуслава, занятая каким-то поручением, спохватилась, когда лодка уже отчалила от берега. Кинулась в воду, едва ко дну не ушла, когда пышные, накрахмаленные нижние юбки, намкнув, стали липнуть к ногам, однако достигла лодки и притащила ее к берегу, клянясь Ченстоховской Божьей Матери-чудотворице, что отныне глаз с деточки не спустит.

Однако уследить за этим «ветром» было невозможно, и вскоре Юлька совершила самый блестящий свой подвиг. Состоял он в том, что там же, в имении, аргамаковская дочка сожгла хату одного из крестьян, а с нею едва не загубила и всей деревни. Сей добрый человек был братом Богуславы, коего она, с разрешения милостивой пани княгини, частенько навещала, беря с собою княжну, которая пуще пряников и пирожных любила простое гостеприимство в сем доме. Брат Богуславы был страстный охотник. Глядя на него, и Юльку разобрало желание

пострелять птиц. К несчастью, она всегда была востра не по годам! Улучив миг, когда хозяин с сестрою отвернулись, Юлька стащила со стола ружье, зарядила дробью (она отменно знала всякую воинскую науку, ведь выросла в доме военного!) и вышла во двор. Там, на вербе, беззаботно чирикала стая воробьев: они-то и были предметом ее вождлений! Для лучшего прицела она взобралась на кровлю дома и оттуда выстрелила. Огонь со ствола попал на соломенную крышу, которая вмиг занялась. Юлька глядела на огонь с восторгом: прежде она видела его только в камине или в печи и не знала, что его нужно бояться! Да и вообще – бояться она не была приучена. Так и глазела на пламень, пока руки Богуславы не подхватили ее и не бросили вниз, прямо в объятия хозяина. Нянька начала спускаться, да нога ее застряла меж жердей, на коих набросана была солома. Брат ее, не спуская с рук Юльки (сие было ему заповедано под страхом адских мучений!), кинулся скликать подмогу.

О ту пору князь Никита возвращался с верховой прогулки. В одно мгновение сообразив, что происходит, он ринулся в горящую хату и взобрался на крышу.

Платье на Богуславе уже занялось, и она, с мужеством отчаяния, тушила его голыми руками, выкликая: «Патер ностер!», «Матка Боска Ченстоховска!» Однако при виде грозного князя, явившегося пред нею среди дыма и пламени, подобно сатане, пришедшему за душою грешника, Богуслава со страху обезумела и, ринувшись бог весть куда, сломала ногу... Тут рухнула часть кровли, и брату княжевой няньки, бегущему с подмогой, померещилось, что вместе с клубами дыма вознеслись в небеса две христианских души.

Ничуть не бывало! Возле догорающей хаты, во дворе, он нашел и два тела, вполне, кстати, живых, хоть и закопченных с ног до головы. Князь Никита отделался малыми ожогами, Богуслава же пострадала серьезнее: и волосы у ней сгорели, и на теле были кровавые раны, когда отдирали обугленные клочья одежды, да и нога сломана... Несколько месяцев провела она в постели, и уход при этом был за нею, «словно за королевой», по ее собственным словам. Лучшие доктора Варшавы пользовали княжью няньку, а брату ее был отстроен новый дом под черепичною крышею. Юльку отец крепко выдрал прямо на пожарище, однако она сие едва ли заметила: зрелище бесчувственной, черной, обгоревшей Богуславы было куда ужаснее.

Всякий день она по несколько часов проводила у нянюшкина одра и надолго зареклась опасно озорничать: проказы ее отныне безобидны сделались. Ну а нянька Богуслава, выздоровев, сделалась первейшим лицом среди княжьей прислуги. Через пятнадцать почти годочков она, правда, отъехала из дому Аргамаковых, но тому были свои причины. Отпустил князь старую Богуславу от себя щедро: купил ей хороший домик в тихом, зеленом местечке на Подвале, дал денег на прожитие и на воспитание внука – горбатого Яцека.

Богуслава, конечно, по-прежнему не могла жить без Юленьки, да и та без нее – тоже. Они виделись чуть не семь раз на неделе, однако в последние, роковые денечки перед своим бегством, когда в мыслях и душе Юлии царил невообразимый сумбур, она не встречалась с Богуславой, а потому для нее ударом оказалась весть о том, что старая нянька вдруг сорвалась с места и уехала на несколько дней в деревню, к заболевшему брату. Сердце упало у Юлии, когда Яцек, мрачно посверкивая глубоко посаженными черными глазами, сообщил ей о сем – там же, в подворотне, на улице, из-за каждого угла которой сквозило смертельной опасностью. Вид у него был словно у занятого хозяина, столкнувшегося с незваной, докучливой гостьей и не знающего, как от нее отвязаться.

– Я... была дома, – робко заикнулась Юлия, недоумевая, почему так разительно переменялся всегда смиренный, почтительный Яцек.

Он вновь сверкнул взглядом исподлобья.

– Вот как?

– Там никого нет! – воскликнула Юлия, но тут же прихлопнула рот ладонью. – Ни отца, ни матушки! Никого из слуг!

– Про слуг не знаю, – пожал плечами Яцек, отчего горб его как будто еще вырос. – А князь с княгинею...

Он умолк, и ужас схватил Юлию за горло. Сердце оборвалось. Она качнулась к забору и начала медленно сползать вниз.

Яцек подхватил ее уже у самой земли, но не боль от пальцев, впившихся в ее руку, будто железные крючья, заставила очнуться, а два-три коротких слова, оброненных скупно, как бы нехотя:

– Они живы... ушли. Успели.

Что-то зазвенело в его голосе, но Юлии было уже не до таких тонкостей. С вернувшейся силой она схватила Яцека за плечи, затрясла:

– Живы? Спаслись? Да где ж они?

– Почему мне знать? Верно, с войсками русскими вышли – стоят, может быть, где-то под Прагою²⁹, не то еще где. Князя голыми руками не возьмешь, сам ушел – и своих увел! – пробурчал горбун. – Погодите, панна Юлька, вы мне руку оторвете, а того хуже – рукав!

Юлия покорно отпустила его и вновь привалилась к забору, тихонько плача. Враз успокоившись об участии родителей, она от облегчения вовсе лишилась сил, и слезы теперь лились сами собой. Да что ж Яцек не зовет ее в дом? Сколько можно стоять здесь, в ветреной ночи? Хотелось есть, а еще больше – пить. Хотелось снять с себя грязное платье, помыться, лечь в постель, забыться сном, чтобы завтра, белым днем, на свежую голову, решить, что делать, куда отправляться на поиски отца с матерью. Господи Иисусе Христе, как они, должно быть, наволновались о пропавшей дочери, как намучились... Вся душа перевернулась у Юлии! Раскаяние обессилило крепче усталости, и ежели б она сейчас наверняка знала, куда идти, где искать родных, – пошла бы, пошла, невзирая на то, что с каждым выдохом из ее тела излетали, казалось, последние жизненные силы.

Яцек потоптался на месте, потом неловко шагнул в сторону, явно намереваясь обойти Юлию.

– Ну что ж, – проворчал он. – Мне, знаете, недосуг здесь... Да и время позднее! Так что...

Он не договорил, развел руками – и Юлия вдруг поняла, что Яцек и не намерен позвать ее в дом. Он хочет уйти, оставив ее...

Господи всеблагий! Яцек, внук Богуславы, этот жалкий горбун, с которым Юлька играла в детстве, как с куклой, этот мальчишка – сколько ему сейчас? пятнадцать? шестнадцать лет? – всю жизнь проживший милостью князя Аргамакова, не пускает ее в свой дом?! Нет, почему же в свой? В дом Богуславы! Тоже купленный, между прочим, князем для старой няньки! А Юлия терпит это, будто жалкая попрошайка!

Она была так изумлена, что едва не пропустила момент, когда Яцек уже вошел в калитку и даже потянул на себя створку, намереваясь закрыть ее за собой. Но тут вдали из-за угла вывалились несколько человек. С первого взгляда видно было, что они мрачно, злобно пьяны. Они рассыпались по улице, пронзительно крича, чтобы криком возбудить друг друга на новые бесчинства. Кто знает, может быть, это были те самые мерзавцы, которые ее преследовали? Так ли, нет ли – выяснять сие она не была намерена. И поскольку Яцек все еще загоразивал калитку, Юлия бесцеремонно оттолкнула его и вскочила во двор.

Оглянулась. Яцек стоял столбом, ошеломленно глядя на нее. Злость придала Юлии сил.

– Всю ночь будешь торчать здесь? Запирай ворота, пошли в дом! Ну! Я замерзла!

– Слушаюсь, ваше сиятельство, – пробормотал Яцек, покорно берясь за засов, и Юлия перевела дух: это совсем другое дело! Она пошла к домику, хрустя заледенелым песком, которым был посыпан двор, не желая сейчас думать ни о чем другом, кроме еды, тепла, сна, – тем

²⁹ Предместье Варшавы, расположенное на другом берегу Вислы.

паче не желая думать о том, как странно звучал голос Яцека... насмешливо, что ли? Ах, да что ей до него!

* * *

Если старая Богуслава была нянькою у маленькой княжны, то дочь ее, Агнешка, – горничной княгини.

Вот уж была писаная красавица! Даже изумительная, одухотворенная красота синеглазой и золотоволосой княгини Ангелины меркла рядом с яркой, страстной прелестью Агнешки. Это была поразительная красавица южного типа с продолговатым золотисто-смуглым лицом, с волосами как вороново крыло и глазами, в полном смысле слова ясными, как день, и мрачными, как ночь. Даже не верилось, что это – польская деревенщина из Грохова! Она представлялась скорее уроженкой дальнего юга, испанкой из какой-нибудь Андалузии или Севильи. Или француженкой по отцу, какому-нибудь торговцу, ехавшему, допустим, в Ригу и однажды заночевавшему в хате недавно осиротевшей Богуславы, где он бесцеремонно подмял под себя молоденькую одинокую девушку. Вот от кого Агнешка могла унаследовать врожденное изящество манер и редкостное легкомыслие. С виду очаровательная хохотушка, она была великой любострастницей, почему никто и не удивился, когда однажды Агнешка оказалась брюхата.

Юлия об этом мало что помнила по младости лет, однако для ее родителей настали тогда времена тяжелые. По слухам, доходившим до княгини, Агнешка не могла знать, кто отец ее ребенка, ибо не пропускала ни одного идущего мимо мужчины, да и трудно было ее в том винить! И без ее стараний у всякого, кто видел эту жаркую красоту, возникало одно-единственное желание – поскорее свалить ее в постель, на траву ли в саду, на груды мешков в кладовой, усадить ли на край стола, просто к стене прижать – неважно, где и как, только бы заставить ее раздвинуть ноги и излить в нее похоть свою, которая в присутствии Агнешки невыносимо донимала мужчин! Ну а коли со всяким Агнешка случалась, то кто может поклясться, что и сам князь в стороне остался?!

Ангелина, как никто, знала, каким буйным страстям предавался в прежние времена ее муж. До сих пор сны ее тревожила дикая жизнь и страшная смерть черноволосой Варвары, стародавней князевой любовницы³⁰. Настроение потом на целый день портилось, если не оказывалось рядом мужа, который представил бы ей сейчас, немедля, самые убедительные и сладостные доказательства своей любви. Ангелина была отчаянно ревнива и не терпела даже поверженных соперниц. Что уж говорить об этой порочной девке, которая при виде князя с умильным намеком переводит глаза на свое выпирающее брюхо?!

Словом, никто в доме не сомневался, что князь не без греха, да только двое, он сам и Агнешка, знали доподлинно, что он чист и безвинен. Изведав бурной молодости, Никита, раз слюбившись с Ангелиною на крутом волжском берегу, уже не мог да и не хотел ее ни на кого променять. К тому же он не терпел шлюх, требующих плату за свои услуги, а Агнешка весьма недвусмысленно намекала ему, что возьмет недешево. Правда, поскольку князь только хмыкнул в ответ и уткнулся в свои бумаги (дело происходило в его кабинете), Агнешка пошла на новый приступ. Услышав какой-то странный скрип, князь Никита поднял глаза от работы и с изумлением узрел красотку, которая полулежала в большом кресле, задрав юбки и закинув ноги на подлокотники, так, что все ее сокровенное было доступно взору... и всему прочему, чем обладают мужчины! Агнешка деловито высвободила из корсажа налитую грудь – как изрядный довесок к своим соблазнам, и была немало изумлена, когда князь не только не кинулся к ней прямо через стол, сметая все на пути своем и высвобождая из лосин вздыбившуюся плоть, но с явной скукой отвел глаза от красной, плотоядно разверстой Агнешкиной

³⁰ См. роман Е. Арсеньевой «Роковая дама трэф».

сути, напоминавшей полуразрушенную щель, в которую лазили слишком многие, и, брезгливо бросив: «Пошла вон, дура!» – вернулся к своим занятиям. Обескураженная Агнешка полежала еще немного, не зная, что делать дальше, потом неуклюже сползла с кресла, вывалилась за дверь – и уже через четверть часа изнасиловала на сундуке младшего лакея.

Проще всего было бы выгнать негодницу из дому, князь Никита уже решил было на сие, да не смог: Богуслава его ушлакала; распутницу перевели в судомойки. Ангелину Никита успокоил лишь тем, что повел ее в Божий храм и там на иконах поклонился в своей нерушимой верности, как бы еще раз обвенчавшись с нею. Ну а ночь, последовавшая за этим, была из тех, которые и днем заставляют сладостно трепетать от воспоминаний.

Что же до Агнешки, она родила преждевременно – и в родах тех скончалась, оставив на свете слабое, тщедушное, рахитичное существо, выжившее только благодаря неусыпным заботам его бабки Богуславы. Это и был Яцек.

* * *

Разбудили Юлию синицы – синицы Яцека. Он слыл завзятым птицеловом, и даже в комнате Богуславы, где провела ночь Юлия, оказалась клетка: правда, всего одна, зато с парой птиц.

Юлия задумчиво смотрела на синиц, которые сидели на жердочке, нахохлившись, и только изредка раздражались кличем, разбудившим ее. Она поцарапала ноготком прутья, чуть присвистывая, как это делают птицеловы, но синицы, чуть она тронула клетку, принялись так злобно щипаться и орать, что Юлия еле успела отдернуть руку.

С наслаждением потрогав горячую изразцовую стенку печи, которая топилась из коридора, она отошла к окну, глядевшему в маленький садик. Легкий снежок то выпадал, то таял; сороки прыгали по сырой земле, трещали, забавлялись обломанными прутьями; синицы стаями опускались на мелкий снежок и клевали его. На воле синицы были красивые, сизо-желтые – не то что эти, сидящие в клетке... которой, между прочим, еще не было в комнате, когда Юлия вчера ложилась спать!

Она оглядела дверь. Засова на ней не имелось, да Юлии и в голову не взбрело бы запирается. От кого, от Яцека, что ли? Больно много чести. И не потому, что горбун. Юлия же знает его всю жизнь, он же внук Богуславы! Странно, однако, зачем же он заходил сюда украдкой? Зачем принес птиц? Разве чтобы они разбудили Юлию, которая спала как убитая? Ну, разбудили – теперь что?

Она тихонько выглянула за дверь, прислушалась. В доме стояла теплая тишина. Потуже затянув похожую на рясу рубаху Богуславы, в которой спала, Юлия на цыпочках прокралась на кухню. Или Яцек тоже еще спит, или... Нет, самовар горячий, и печка растоплена. Где же он? Ушел куда-то? Ну и ладно. Юлия взяла в чугунке горячей воды, толком помылась: вчера, с устатку, было не до размываний, так, едва поплескала на себя, хорошо хоть хватило сил простирнуть панталоны да тонкую дневную сорочку: было бы нестерпимо надеть несвежее белье на чистое тело! Разнежась, она вымыла голову, надеясь, что Яцек не вернется в самый неподходящий миг и не застанет ее на кухне полуголой. Потом поела вчерашних лепешек с молоком, счистила шлепки грязи с платья, подшила оторвавшийся подол, а шлейф без сожаления сняла: длиннющий, он только мешал.

Стирать да шить, да волосы мыть, да чесать Юлию научила Богуслава, говоря, что и Господь сам одевался, слуг у него не было, и сейчас она еще раз мысленно поблагодарила старую няньку. Ее дух, ее любовь, ее забота словно бы и сегодня окружали, охраняли Юлию.

Вспомнилось вдруг, как Богуслава отвечала Юльке, донимавшей всех вокруг вопросами: что такое небо, кто на нем живет, откуда приходят месяц и солнце и куда уходят, что такое звезды, отчего дождь, отчего снег?.. Взрослые отмахивались: «Много будешь знать – скоро

состаришься» или объясняли невнятно, страшно. И только одна старая Богуслава отвечала ясно и вразумительно:

«На небесах, – говорила она, – живет Господь Бог со святыми, ангелами и херувимами» – «Что же они там делают?» – «Нам почем знать? На небо никто не лазил!» – «А откуда все берется, куда девается?» – «На это власть Господня! Если так есть, стало быть, так и надобно!»

Эти простые объяснения вполне и надолго устроили Юльку, но потом чуть ли не каждый вечер она садилась в саду на ступеньку террасы и, не спуская глаз с неба, смотрела, как одна за другою выступают звезды, и думала: должно быть, это окошечки в домиках ангелов, и там свечки зажигают; вот-вот откроются все окошечки, выглянут из них хорошенькие детки и усмехнутся Юльке, а она им улыбнется, – и подолгу ждала свидания с небесными младенцами...

Какой-то звук заставил ее вздрогнуть. Глянула в окошко – по двору шел Яцек. Очарование Богуславина дома, милых сердцу воспоминаний враз рухнуло. До того тошно сделалось при виде его уродливого тела, понурой головы, что Юлия вскочила и кинулась наверх, желая хоть самую малость отдалить встречу с ним. Она едва успела вбежать к себе, как внизу хлопнула дверь – Яцек вошел в дом.

* * *

Яцека она знала почти так же давно, как старую Богуславу. Был он года на два младше Юльки, а потому она приняла его как живую игрушку и, право же, была почти единственным человеком в доме, коего не пугало уродство и злонравие ребенка. Посули в награду лакеям и денщикам тысячу золотых, все равно никто из многочисленных любовников Агнешки не пожелал бы признать мальчишку своим. Будто зачал его сам нечистый, и только Богуслава по родственности да Юленька по малолетству и любви к своей няньке могли быть с ним ласковы. Впрочем, только им он и платил большей или меньшей приветливостью, поскольку весь остальной род человеческий вызывал в нем неприязнь, ну а к князю Никите Ильичу Яцек с первых мгновений жизни питал особенную злобу и даже как-то раз до крови прокусил ему руку, когда князь, желая порадовать добрую Богуславу, вознамерился погладить ее внука по голове. Был Яцек редким пакостником, умевшим, однако, все обделывать шито-крыто, так, что долгое время никто не догадывался о его проказах, пока князь не застиг его на месте преступления.

Зайдя в неуточный час в парадную залу, увешанную по стенам портретами государей русских, князь остолбенел, увидев там вовсе голого Яцека, с непристойными телодвижениями выплясывавшего краковяк, приглашая присоединиться к себе то одного, то другого царя или царицу, а их молчаливый «отказ» встречал такими словечками, которые более уместно услышать из уст грязного, опустившегося пьяницы, нежели восьмилетнего ребенка. Более того, он грозил всякому портрету железным аршином, оказавшимся в его руках. Особенно досталось Петру Великому. Вообразив, что сей грозный царь смотрит насмешливо на его мерзкие чудачества (что и было вьяве!), Яцек, разъярясь, вдруг хватил аршином по портрету, да так, что порвал полотно. У князя помутился разум от ярости. Он вырвал железный аршин из рук Яцека и так отходил дьяволенка, что унесли мальчишку чуть живого, да и самого Никиту Ильича едва удар не хватил.

На кухне судачили: помрет, мол, парнишка, почитай, кровью истек! Ан нет, оклемался Яцек. Не истек кровью, не умер, выздоровел – однако переменялся разительно, словно подменили его! Притих, сделался кроток, почтителен, с охотой взялся за учебу, особенно за книжки духовного содержания, и весь его облик – тихий, благодостный, со склоненной головою и потупленными очами – выражал одно: радостное смирение. Самую большую страсть его теперь составляли птицы. Он держал их в своей комнатухе: канареек, соловьев, скворцов, – учил разным напевам под органчик или дудочку или сам насвистывал им песенки. Птицы у Яцека

почему-то долго не жили: то одну, то другую находили лежавшей в клетке лапками вверх. Конечно, следовало бы воспретить ему губить божьих тварей, да ни у кого, прежде всего у князя, который втайне стыдился той вспышки ярости, язык не поворачивался и рука не поднималась лишить несчастного его забавы. Почему несчастного? Да потому, что через год ли, другой после случившегося замечен стал у Яцка горбик, который потом обратился в довольно большой, уродливый горб. По углам прислуга шепталась: мол, барин набил мальчонке горб, иначе откуда бы ему взяться? И только старший повар Федор Иванович, подвыпив, во всеуслышание заявлял: «Вы думаете, с чего Яцка таково-то переделался? По добру или по уму? Да ничуть же не бывало! Это злоба его в горб свернулась – лежит, ждет своего часа! Надо ж ей было куда-то деваться до поры до времени!»

А потом случилась беда. Княгиня Ангелина Дмитриевна, очень хотевшая ребенка, наконец забеременела. Все в доме, и в первую очередь Юленька, которой тогда было лет шестнадцать, не знали покоя, ожидая радостного события. Но однажды княгиня, спускаясь с лестницы, увидела на ступеньке тень Яцекова горба – и оступилась со страху, и съехала с лестницы – и, понятно, скинула. Никого тут никто не винил, что бы там ни бурчал на кухне повар Федор Иванович, однако же Богуслава сама попросила князя отпустить ее от дел, позволить жить не в господском доме. Яцек пристроился на работу недалеко, в костеле: двор подметать, храм в чистоте содержать. Юлия встречалась с ним часто, но всегда с тщательно скрываемым испугом, раз от разу примечая, что горб Яцека становится все уродливее и громаднее.

* * *

Вот и сейчас – она невольно вздрогнула, когда дверь начала приотворяться и жаркие глаза заглянули в комнату.

– Спице, панна Юлька? – прошелестел шепоток, и она отозвалась:

– Доброе утро, Яцек! Нет, я давно встала. Что там на улицах?

– Да так, тихо все. – Яцек вошел, зябко потирая руки. – Ишь как здесь тепло, а на дворе подмораживает. Я поутру затопил печку-то, дрова уронил, думал – разбудил вас, а нет: глянул в щелочку – вы спите как убитая. Ну я и пошел в костел...

Он вдруг осекся, уставившись на клетку, в которой сердито нахохлились синицы.

– Как это... Кто это ее сюда?.. – Он запнулся.

– Надо думать, ты, кто ж еще, – пожал плечами Юлия, удивляясь, что Яцек, оказывается, может так неистово краснеть – ну чисто кумачом!

– А, да, – криво улыбнулся он. – Я ведь хотел перенести ее в мансарду, где прохладнее, да, верно, позабыл здесь, когда заглянул...

– В щелочку, – неприязненно уточнила Юлия, отворачиваясь.

Чего он врет! В щелочку, конечно! Он прокрался в комнату и разглядывал ее, спящую, в этом нет сомнения. Счастье, что Богуславина рубаха обширна, как палатка, ее и пуля не пробьет, не то что нескромный взор. Однако представить себе, как Яцек приотворяет дверь, крадется на цыпочках, пожирая нескромным взором спящую, и до того увлекается этим созерцанием, что даже забывает клетку с синицами, – представить все это отвратительно. Вообразив, как Яцек, потеряв голову, лезет к ней под одеяло, она так передернулась, что, враз поняв все ее мысли, горбун внезапно побелел, словно не только от лица, но и из всего тела его отхлынула кровь.

– Брезгуете? – проскрипел он. – Брезгуете мною, да?

– Что это ты, Яцек? – прищурилась Юлия. – Не забывайся, знаешь ли!

– А ведь вы в моем доме, панна Юлька, – вкрадчиво сказал Яцек. – Пользуетесь моим гостеприимством, однако же...

– Дом вовсе не твой! – перебила Юлия. – Дом Богуславы! И купил его, между прочим, для Богуславы, а не для тебя, мой отец!

– Ваш отец... – голос Яцека был как скрежет зубовой. – Ваш отец, будь он проклят! Жалею, что ушел он от рук моих! Я бы ему горло-то перервал! Всего бы разорвал! Потихоньку, по жилочке... Чтоб кровью да криком изошел, как я исходил, когда он меня железным аршином охаживал! С тех пор-то я в чудище превратился, в горбуна, коим панна Юлька так брезгует!

Юлия шевельнула губами, но заговорить смогла не сразу. Ненависть Яцека сразила ее – особенно тем, что была такой застарелой, такой неумирающей! Первой мыслью было робко напомнить ему, что, возможно, не порка – причина его горба: он ведь всегда был редкостно уродлив, рахитичен, большеголов и кривоног, – но тут же ярость опалила ей лицо. Он хотел мстить ее отцу! Мечтал о муках ее отца! Ах ты, падаль! Нет, надо бежать отсюда немедленно! Дом старой Богуславы перестал быть надежным убежищем – поскорее бы покинуть его, поскорее! А куда идти? Ну не может ведь быть, чтобы эта вакханалия продолжалась до бесконечности! Надо думать, войска стоят не далее чем в десяти-двадцати верстах, так что, если бы купить лошадь... У нее, по счастью, были с собой немалые деньги...

Она сунула руку в карман и с изумлением обнаружила, что он пуст. Неужто выронила кошелек в кухне, когда чистила платье? И тут же кривая улыбка Яцека подсказала ответ. Он, значит, не только паялился куда не следует. Он еще и обобрал ее! Ах, мерзость, мерзость! Ладно, черт с ним! Лучше пешком идти, только бы подальше отсюда!

Юлия схватила салоп, небрежно брошенный в кресло, и ринулась к двери, но Яцек проворно заступил ей путь:

– Куда это вы направляетесь, панна Юлька? Неужто решились покинуть меня?

– Не твое дело! – фыркнула Юлия, примеряясь, как бы половчее обойти его.

– Да как же не мое? – пожал плечами Яцек, и горб его жутко вздыбился. – Ведь я поляк, мы в Польском королевстве, значит...

– Ты в Российской империи! – заносчиво перебила Юлия. – Угомонись! Не сегодня-завтра наши вернутся в Варшаву, так что...

– Так что угомониться придется вам, ибо русские отползают на восток, будто побитый медведь! Власть в руках Административного совета королевства, отныне Польша опять для поляков, ясновельможная панна! Теперь мы здесь хозяева! А вы – моя постоянщица, вы у меня на квартире стоите. А за постой платить надобно!

– Ты же взял деньги, чего ж тебе еще? – глумливо напомнила Юлия.

Яцек неловко затоптался на месте, и Юлия ринулась было мимо него, да не рассчитала, какие длинные у горбуна руки, не руки, а оглобли! И этими своими оглоблями он перехватил ее на бегу, стиснул, повлек к себе, бормоча:

– Деньги? Что деньги! Твой отец дом купил, а ты мне за него заплатишь!

Ошеломленная этой нелепицей, Юлия на мгновение замерла, и Яцек притиснул ее к себе так, что губы его впились ей в шею, а в бедра вжалось что-то твердое и болезнетворное, и она с криком отшатнулась.

Яцек выпустил ее, но при этом толкнул так, что она повалилась на кровать и не сразу смогла подняться.

– Лежи! – крикнул Яцек, удерживая ее одной рукой, а другой расстегивая штаны и извлекая на свет Божий нечто столь несообразное, что Юлия уставилась на это расширенными глазами.

Ей было с чем сравнивать! Позапрошлой ночью размеры этого знака мужского достоинства Зигмунда показались ей восхитительными и весьма немалыми. Но то была детская игрушка по сравнению с тем, что выставил на обозрение горбун, и Юлия с невольным любо-

пытством подумала, как же он не спотыкался и не ходил вовсе враскоряку, ежели между ног у него жило этакое чудище?!

Когда-то давным-давно она услышала от пьяного солдата слово «елдак» и долго пребывала в уверенности, будто это то же самое, что «чурбак». Потом, когда маленькая Юлька на прогулке в их имении во всеуслышание назвала «кучей елдаков» горку ровненьких березовых дров, громоздившихся в поленнице, отчего матушку едва не хватил удар, а отец почти задохнулся от сдавленного хохота, она уразумела, что слово это, мягко говоря, неприличное. Однако истинный смысл его оставался скрыт от нее до сего мгновения... Впрочем, сейчас Юлия думала, что лучше б ей никогда его не знать, ибо нечеловеческий елдак горбуна был нацелен прямо под ее задравшиеся юбки.

– Давай, ну! – взревел горбун, схватив свой жуткий меч обеими руками и тряся его, и раскачивая, отчего тот словно еще более возрастал в размерах, хотя это и казалось вовсе немислимым.

У Юлии помутилось в голове. Однако где-то на краю сознания мелькнула мысль, что, лишись она чувств, сразу же сделается покорной игрушкой Яцеку и тот убьет ее, едва ворвавшись в ее тело. Это отрезвило: оцепенение схлынуло. Юлия забилась на постели, швыряя в Яцека подушками, скомканным одеялом, пытаясь пихнуть его ногой, но этим только помогла ему, ибо, схватив ее за лодыжку, Яцек рванул Юлию к себе так, что она распростерлась на спине, и рухнул сверху, до того опьяненный похотью, что не сообразил содрать с жертвы панталоны.

Она закричала звериным криком, уворачиваясь от его жадного рта, забилась, шаря вокруг себя, больно ушиблась рукою о ночной столик при кровати – ах, что значила сия боль по сравнению с той, которая сейчас разорвет ее тело?! – и, мучительно извернувшись, вдруг увидела на этом столике начатый моточек ниток, кружево и воткнутый в него стальной крючок Богуславы. Единственное ее оружие!

Кончиками пальцев она подцепила крючок, стиснула его в кулаке и принялась наносить удары в лицо, в шею Яцека, но он их будто и не ощущал. Нашарив наконец-то завязки панталон, он с торжествующей усмешкой победителя взглянул на свою жертву – и тут, в последнем проблеске сопротивления, Юлия изо всех сил вонзила крючок ему в глаз – весь крючок, по самый краешек! – и едва успела увернуться от струи крови, хлынувшей на подушку.

Яцек замер, словно бы в недоумении уставясь на Юлию единственным выпученным глазом, а потом с тяжелым хрипом содрогнулся раз, другой... все слабее и слабее... и навалился на нее всей своей тяжестью. Неподвижной тяжестью.

Горло от запаха крови свела кислая тошнота. Юлия едва не лишилась чувств, но все же нашла силы спихнуть с себя Яцека и скатилась с кровати, простерлась на полу, с наслаждением ощущая прохладу гладких, добела выскобленных половиц. Унимая запаленное дыхание, торопливо оправила юбки, застегнула крючки лифа. Несколько крючков было оторвано, но все равно – какое наслаждение было вновь оказаться под защитой одежды! Она заботливо разгладила ладонями смятое платье, оглядела себя, не залита ли кровью, и пронзительно вскрикнула, обнаружив, что одна прядка ее светло-русых волос красная и влажная.

Схватив с того же столика ножницы (ах, жаль, не заметила их прежде!), ринулась к зеркалу, одним махом отхватила окровавленную прядь, швырнула на пол – и замерла, услышав какое-то движение за спиной.

Опять, взвизгнув, кинулась к кровати, заноса для удара ножницы... но ее «рукоделие» было уже закончено: Яцек лежал недвижно, один глаз его был мученически выкачен, а в другом среди сгустков крови поблескивал беленький краешек крючка, пронзившего его мозг.

Юлия тронула Яцека за плечо – сперва одним пальчиком, потом ладонью, потом потрясла... Он оставался неподвижен. Мертвенно-неподвижен!

– Господи милостивый! – пробормотала Юлия. – Что же... Я что же, убила его? Убила?..

– Таки да, барышня, – слышался с порога тихий голос. – Убили смертью! И слушайте: идемте отсюда!

Юлия обернулась, не веря ушам. И не поверила глазам: благообразный, толстощекий господин в широком пальто с пелериною стоял на пороге и, нетерпеливо постукивая тростью, твердил:

– Слушайте, барышня! Не стойте так, как будто у вас совсем отнялись ноги! Нужно бежать, иначе...

7. Цветочный театр Шимона Аскеназы

Помнишь ли, ма шери,
Душку-колонеля?..
Ах, ком же вудрэ
Быть в его постели!

Мадам Люцина била по струнам, и хор подхватывал самую популярную в Польше со времен 1812 года песенку:

Ах, ком же вудрэ
Быть в его постели!

Мадам вдруг оборвала игру, резко повернулась к Юлии:

– А ты чего молчишь, Незабудка?

Та вздрогнула, пойманная на месте обычного своего преступления – задумчивости. Ответила глухо:

– Забыла слова.

– Как забыла?! – изумилась мадам Люцина. – Но ведь все помнят!

– А я забыла.

– Какая же ты после этого Незабудка, если все забываешь? – захохотала Ружа ³¹.

– Никакая, – сквозь зубы процедила Юлия, бросая угрюмый взгляд на румяную Розу, фривольно развалившуюся в кресле.

– Вот именно. Ты просто Незапоминайка ³², – веселилась та.

– Надо думать, пан Шимон поспешил дать тебе это имя, – задумчиво протянула мадам Люцина. – Тебя следовало бы назвать русской дурой. Хамка, мужичка! Задаром ешь хлеб!

Гитара полетела в сторону, задев хорошенькую Фьелэк, то есть Фиалку, которая громко взвизгнула. Люцина нависла над Юлией, сидевшей на маленьком дурацком пуфике, и, схватив ее за плечи, трясла, не давая встать:

– Ты мне надоела! И хорошо знаешь это! Вот уже который месяц ты ешь здесь хлеб из милости – ешь то, что зарабатывают другие девушки в поте лица своего...

– В поте своего тела, – перебила наглая Ружа, пользовавшаяся за свое усердие особым уважением мадам и знавшая, что ей все сойдет с рук.

– Вот именно! – подхватила мадам. – Все трудятся не покладая рук...

– Не сдвигая ног! – снова уточнила Ружа, поправляя розовое кружево розовой юбки, столь короткой, что ее полные ножки в розовых чулочках были открыты чуть не до колен.

Мадам невольно расхохоталась и заплодировала:

– Браво, Ружа! Ты воистину царица цветов.

Ружа тем временем шаловливо подмигнула Юлии, и та не смогла не улыбнуться в ответ: уже не раз бывало, что Ружа своими шуточками выводила Юлию из-под обстрела мадам. Правда, чаще всего она сама и подставляла незадачливую Незабудку, вернее, Незапоминайку, но тут же и выручала ее. Мадам, презиравшая мужчин, но любившая, чтобы (как говаривал в свои лучшие дни Шатобриан) за ее садиком поухаживала какая-нибудь яркая брюнетка, просто не могла оставаться равнодушной к прелестям черноволосой и синеглазой Ружи, которой

³¹ Роза (польск.).

³² «Незабудка» по-польски и «незабудка», и «незапоминайка».

было абсолютно безразлично, кто вдохнет ее аромат: мужчина или женщина, лишь бы платили. Правда, мадам Люцину Руже приходилось ласкать бесплатно, зато она считалась признанной фавориткой.

Собственно, мадам была всего лишь надсмотрщицей, дрессировщицей, вернее сказать, цветочницей этой клумбы, состоявшей из десятка молоденьких красоток, полек и евреек, притворявшихся польками. Юлия среди них была одна русская, но отношение к ней мадам было куда хуже, чем, например, к роскошной, ленивой еврейке Риве, которую здесь звали Пивонья, что означало Пион. Пивонье покровительствовал хозяин, пан Шимон Аскеназа: когда родители ее умерли, он привел девочку к мадам Люцине, чтобы училась ремеслу и могла зарабатывать себе «на хороший кусок хлеба», как любил говаривать пан Аскеназа. Да и всех остальных девушек приводил он: умирающих от голоду поденщиц, белошвеек, горничных – безработных сирот, выгнанных хозяевами за малую провинность, оставшихся без работы и этого самого куска. Пан Шимон являлся пред ними в самые тяжкие минуты жизни: на берегу Вислы, где бродила темноволосая Марьяля (впоследствии Фьелэк), набираясь храбрости войти в реку, чтобы уже не выходить из нее; или на чердаке пустого дома, где Илена (она же Конвалия, Ландыш) надевала на шею петлю; или в грязной подворотне, где обезумевшая от голода Баська (Шаротка, то есть Эдельвейс) намеревалась за кусок хлеба отдаться первому встречному... Пан Аскеназа говорил, что его доброе сердце за версту чует чужое несчастье, чужую беду, в которой надо помочь, а потому он и появляется как раз вовремя, чтобы отвести очередную бедняжку к мадам Люцине, а там жалкая бродяжка недельку-другую блаженствовала в сытости, роскоши и безделье, если не считать обучения пению и танцам, а потом, совсем разнежась, оказывалась перед выбором: воротиться к своему первобытному состоянию или сделать самую малость – надеть красивое платье, сделать красивую прическу, принять новое красивое имя и в компании с другими красивыми девушками выйти вечером к красивым молодым людям, чтобы танцевать перед ними, изображая красивый цветок, а потом выбрать себе садовника, какой понравится. Пан Аскеназа называл свой приют для бродяжек изысканно: Театр цветов, мадам Люцину – клумбой (роскошной или облезлой – в зависимости от настроения), а на самом деле это был самый настоящий *maison de joie*³³ – обычный публичный дом с необычным антуражем. А потому, когда новенький «цветок» соглашался, ее спешно обучали несложным эротическим приемам. «Нет ничего лучше практики!» – говаривала мадам Люцина, которая для такого случая передевалась в мужскую одежду и даже привязывала к передку искусное, выточенное из дерева и до блеска отполированное частым употреблением изображение мужского орудия средних размеров, которым, кстати сказать, избавлялись от всех преград непорочные девицы, попавшие в Театр. Ну а затем новообращенные «высаживались в клумбу», как цинично шутила многоопытная Ружа: выпускались к клиентам.

Девушки ели вволю, жили на всем готовом; им разрешали оставлять себе подарки «садовников»: хозяйину шла только входная плата и плата «за услуги». И, насколько успела узнать Юлия, никто не спешил по доброй воле покинуть Театр: ведь некоторые из девушек были спасены паном Аскеназой не только от бедности, но и от полиции, и, выйди они отсюда, их ждала бы тюрьма.

³³ Дом веселья (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.